интеракция

интервью



terpretation

interview

интерпретация



interaction interview suntable suntabl

Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) Российское общество социологов (РОС)

Интеракция. Интервью. Интерпретация 2022. Том 14. № 4 Interaction. Interview. Interpretation 2022. Volume 14. No. 4

ISSN (Print) 2307-2075 ISSN (Online) 2687-0401

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Издается с 2002 г. Выходит 4 раза в год

2022. Tom 14. № 4 DOI: 10.19181/inter.2022.14.4

Учредители Федеральный научно-исследовательский социологический центр

Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) Российское общество социологов (РОС)

Издатель Федеральный научно-исследовательский социологический центр

Российской академии наук (ФНИСЦ РАН)

Главный редактор В.В. Семенова

Редакция Е. Ю. Рождественская

А.В. Стрельникова

И. Н. Тартаковская

Ответственный секретарь П. Е. Сушко
Технический редактор О. Н. Салангина
Компьютерная верстка В. Е. Кудымов
Корректор А. Н. Кокарева

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук.

Журнал открытого доступа. Доступ к контенту журнала бесплатный. Плата за публикацию с авторов не взимается.



Контент доступен по лицензии

Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

Все выпуски журнала размещаются в открытом доступе на официальном сайте журнала с момента публикации: https://www.inter-fnisc.ru/

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-73688 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 14 сентября 2018 г.





Редакционная коллегия

Главный редактор

СЕМЕНОВА Виктория Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Государственный академический университет гуманитарных наук; руководитель сектора, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), victoria-sem@yandex.ru

Редакция

- РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Елена Юрьевна доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rigasvaverite@gmail.com
- СТРЕЛЬНИКОВА Анна Владимировна кандидат социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия). astrelnikova@hse.ru
- ТАРТАКОВСКАЯ Ирина Наумовна кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Ответственный секретарь

СУШКО Павел Евгеньевич — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), sushkope@mail.ru

Редакционная коллегия

- АБРАМОВ Роман Николаевич доктор социологических наук, доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), rabramov@hse.ru
- БРЕКНЕР Розвита доктор философии, доцент, Университет Вены (Вена, Австрия), roswitha.breckner@univie.ac.at ВАНЬКЕ Александрина Владимировна кандидат социологических наук, научный сотрудник, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (Москва, Россия), vanke@inbox.ru
- ДЭВИС Кэти доктор философии, профессор, Амстердамский свободный университет (Амстердам, Нидерланды), k.e.davis@vu.nl
- ИНОВЛОКИ Лена доктор философии, профессор, Франкфуртский университет прикладных наук (Франкфурт-на-Майне, Германия), linowlocki@fb4.fra-uas.de
- КОЗИНА Ирина Марксовна кандидат социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Poccuя), ikozina@hse.ru
- КОСЕЛА Кшиштоф доктор социологических наук, профессор, Варшавский университет (Варшава, Польша), k.kosela@is.uw.edu.pl
- ОМЕЛЬЧЕНКО Елена Леонидовна доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия), omelchenkoe@mail.ru
- ЧЕРНОВА Жанна Владимировна доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник СИ РАН филиал ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург, Россия), chernova30@mail.ru
- ЧЕРНЫШ Михаил Федорович член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, директор, ФНИСЦ РАН (Москва, Россия), mfche@yandex.ru
- ЧЕРНЯЕВА Татьяна Ивановна доктор социологических наук, профессор, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Саратов, Россия), tatcher@yandex.ru
- ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Елена Ростиславовна доктор социологических наук, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), eiarskaia@hse.ru

Editorial board

Editor-in-Chief

Victoria V. SEMENOVA — Doctor of Sociology, Professor, State Academic University for the Humanities; Head of the sector, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), victoria-sem@yandex.ru

Editorial Team

- Elena Yu. ROZHDESTVENSKAYA Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rigasvaverite@gmail.com
- Anna V. STRELNIKOVA Candidate of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), astrelnikova@hse.ru
- Irina N. TARTAKOVSKAYA Candidate of Sociology, Senior researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), I_Tartakovskaya@yahoo.com

Executive Secretary

Pavel E. SUSHKO — Candidate of Sociology, Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), sushkope@mail.ru

Editorial Board

- Roman N. ABRAMOV Doctor of Sociology, Associate professor, National Research University Higher School of Economics; Leading researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), rabramov@hse.ru
- Roswitha BRECKNER PhD, Associate Professor, University of Vienna (Vienna, Austria), roswitha.breckner@univie.ac.at Zhanna V. CHERNOVA Doctor of Sociology, Leading researcher, SI RAS FCTAS RAS (St. Petersburg, Russia), chernova30@mail.ru
- Tatiana I. CHERNYÁEVA Doctor of Sociology, Professor, Povolzhsky Institute of Management named after P.A. Stolypin — the branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Saratov, Russia), tatcher@yandex.ru
- Michael F. CHERNYSH Corresponding Member, Doctor of Sociology, Director, FCTAS RAS (Moscow, Russia), mfche@yandex.ru
- Kathy DAVIS PhD, Professor, Free University Amsterdam (Amsterdam, Netherlands), k.e.davis@vu.nl
- Elená R. IARSKAIA-SMIRNOVA Doctor of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), eiarskaia@hse.ru
- Lena INOWLOCKI PhD, Professor, Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt-am-Main, Germany), linowlocki@fb4.fra-uas.de
- Krzysztof KOSELA Doctor of Sociology, Professor, University of Warsaw (Warsaw, Poland), k.kosela@is.uw.edu.pl Irina M. KOZINA — Candidate of Sociology, Tenured Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), ikozina@hse.ru
- Elena L. OMELCHENKO Doctor of Sociology, Professor, National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg (St. Petersburg, Russia), omelchenkoe@mail.ru
- Alexandrina V. VANKE Candidate of Sociology, Researcher, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), vanke@inbox.ru

Содержание

Письмо редактора			
Исследовательские рефлексии	10		
Мария Родионова Травма академии: в попытках идиорритмической контекстуализации	10		
Методология исследования: смешанная оптика	29		
Алла Мозговая, Елена Шлыкова			
Человеческое измерение безопасности: субъективные оценки и личностные смыслы	29		
Полевые исследования	41		
Илья Пузанков			
«У казака вся жизнь— война, в казачьем сердце страха нет!», или как сегодня становятся казаками	41		
Нина Любинарская			
Роль «отношенческой рефлексивности» в семейных отношениях: кейс-стади на примере двух молодых пар	62		
Коллективная память	89		
Татьяна Даутова			
Память о репрессированных: онлайн-ритуал коммеморации «Возвращение имен»	89		
ИНТЕР-энциклопедия качественных методов	110		
Сергей Старцев ИНТЕР-энциклопедия: метод картографирования телесности	110		

Contents

Editor's Letter	7
Research Reflections	10
Maria Rodionova The Trauma of Academia: on Attempts of Idiorrhythmic Contextualization	10
Research Methodology: Mixed Optics	29
Alla Mozgovaya, Elena Shlykova The Human Dimension of Security: Subjective Assessments and Personal	29
Field Work Research	41
Ilya Puzankov "A Cossack's Whole Life is War, there is no Fear in a Cossack's Heart!" or How They Become Cossacks Today	
Collective Memory	89
Tatyana Dautova The Memory of the Repressed: Online Ritual of Commemoration "Returning the Names"	89
INTER-Encyclopedia of Qualitative Methods	110
Sergey Startsev INTER-Encyclopedia: Body Mapping	110



Письмо редактора

Представляя новый номер ИНТЕРа, заключительный для непростого 2022 года, мы ищем сквозной лейтмотив для публикуемых статей. И хотя специально мы не анонсировали общую тему, тем не менее улавливается общее настроение, выраженное сильнее или слабее. Нам кажется, что речь идет о травме как «плавающем означающем» с ее нестрогими границами и трудно вербализируемым содержанием, которое тем не менее оставляет след и меняет формы предъявления. Само понятие травмы многое доносит нам о времени, которое мы проживаем, событиях, нас травмирующих, о важных для нас ценностях, поставленных под сомнение обстоятельствами, и о тех способах, которыми мы пытаемся с травмой совладать. Тренд исследования травмы (культурной, исторической, социальной, трансформационной и других) — в сдвиге от некоего события в структуре опыта, сопротивляющегося презентации, до переоткрытия травмы, подлежащей рассказыванию и трансмедийной визуализации всеми возможными способами. Более того, в этой связи Дж. А. Нидей говорит о «риторике травмы», а Дж. Александер даже полагает травму «новым образцовым нарративом», утверждая, что «культурная травма возникает, когда члены коллектива чувствуют, что они были подвергнуты ужасающему событию, которое оставляет неизгладимый след в их групповом сознании, навсегда запечатлеваясь в их памяти и меняя их будущую идентичность фундаментальным и бесповоротным образом»¹. Исследовательское поле травмы поэтому содержит внутреннее противоречие, на которое указывают многие авторы, например Сабина Сиелке, Карин Балл, Мария Цетинник. Это противоречие заложено, с одной стороны, идеей, пришедшей из психоанализа о невыразимости травмы (Т. Адорно, Ж.-Ф. Лиотар, Ш. Фельман, Д. Лауб, К. Карут и др.), а с другой — мнением о глобализации и медиатизации травмы (В. Канштайнер, Э. Каплан, Дж. Александер, А. Хьюссен), возможности говорить о травме на макроуровне и в отношении социальных трансформаций (П. Штомпка), более того, выдвинуты идеи и о контртравме относительно социальных катаклизмов (А. Здравомыслов).

Таким образом, концептуальный язык травмы, интересующей нас с социологической точки зрения, расширяет наши возможности говорить о практиках насилия, в том числе институционального, о сложном и неоднозначном прошлом, уроки которого не переработаны и болят, как фантомные раны ветерана.

Открывается номер рубрикой «Исследовательская рефлексия» и статьей Марии Родионовой о «Травме академии: в попытках идиорритмической контекстуализации», в которой автор размышляет и автоэтнографически тестирует

¹ Alexander J. C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N. J., Sztompka P. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California, 2004.

на собственных переживаниях структурно-агентскую дилемму в университетской среде, обнаруживает механизмы балансирования между требуемой от работника академии объективностью и присущей ему субъективностью, в подавлении которой усматривает травматический след. Привлекая ресурсы модели идиорритмии Р. Барта, автор предлагает теоретическое осмысление академии как социального агрегата, пытающегося примирить индивидуальный и коллективный опыт, но одновременно же и признает: академическая жизнь препятствует критическому осмыслению этих противоречий.

Далее авторы Алла Мозговая и Елена Шлыкова в рубрике «Методология исследования: смешанная оптика» представляют в своей работе «Человеческое измерение безопасности: субъективные оценки и личностные смыслы» методологическое изыскание того, какими адекватными методами измерять факторы, влияющие на субъективную оценку риска и уязвимости, интерпретации смыслов, которые вкладываются респондентами в понимание феномена безопасности. Авторы озабочены попыткой продемонстрировать взаимодополняемость социологических данных, получаемых методами количественной и качественной эмпирической социологии как на этапе проектирования и пилотажа инструментария, так и при интерпретации результатов.

Рубрика «Полевые исследования» в этом номере представлена двумя статьями. Первая из них — «"У казака вся жизнь — война, в казачьем сердце страха нет!", или как сегодня становятся казаками» Ильи Пузанкова — посвящена социально-антропологическому анализу современного казачества и его коллективной идентичности сквозь призму теории маскулинности (в измерениях гегемонности и милитаризованности). Опросив казаков, автор реконструирует категоризационный контур современной коллективной идентичности казачества, центральным элементом которого остается исторический паттерн милитаризованной маскулинности. Вторая статья этой рубрики Нины Любинарской «Роль «отношенческой рефлексивности» в семейных отношениях: кейс-стади на примере двух молодых пар» отражает сугубо внутренние взаимодействия и отношения молодых пар. Автор гипостазирует, что «отношенческая рефлексивность» играет важную роль в устойчивости семейных отношений: ее наличие способно укрепить их, а отсутствие — привести к кризису в семье или к разводу, что и прослеживается через анализ нарративов респондентов. Вывод, который обосновывает автор: излишний индивидуализм в паре может приводить к игнорированию совместных трудностей и создавать сложности в управлении отношениями.

Рубрика «Коллективная память» вновь возвращает нас к теме травмы, на этот раз исторической и семейно-групповой. Автор статьи «Память о репрессированных: онлайн-ритуал коммеморации "Возвращение имен"» Татьяна Даутова изучает формальное и содержательное расширение акции-ритуала коммеморации репрессированных «Возвращение имен». Исследователь использует эмотивные маркеры (аффект, эмоции, оценки) как спектр выразительности для проговаривания трудного прошлого.

Завершает четвертый номер журнала пополнение нашей рубрики «ИНТЕРэнциклопедия качественных методов». Сергей Старцев описывает метод



картографирования телесности, методические особенности и эвристические границы телесного картирования. Автор приводит краткий обзор методических шагов, которые необходимо предпринять при использовании данного метода, а также описывает этапы его внедрения в социологическую дисциплину из арт-терапевтических практик относительно сложного социального опыта, в которых картирование тела продемонстрировало себя как нестандартный способ получения эвристичной экстралингвистической информации.

С точки зрения психоаналитического подхода травма оставляет переживающего индивида безмолвным, так как разрушает способность символизировать¹, а символизация является важной предпосылкой для лингвистически опосредованной коммуникации. Но социологически мы обнаруживаем групповые и институциональные усилия, позволяющие «справиться» с травмой посредством производства групповых гранд-нарративов, историзирующих и переозначивающих пережитый опыт. Исследования возвращают язык травматичному опыту и отстраняют его.

Выпускающий редактор номера Елена Рождественская

 $^{^1}$ Bohleber W. Die Entwicklung der Traumatheorie in der Psychoanalyse // Psyche — Zeitschrift für Psychoanalyse. 2000. Vol. 54. \mathbb{N}^9 9–10. P. 797–839.

Исследовательские рефлексии



DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.1

EDN: OIDDVT

Травма академии: в попытках идиорритмической контекстуализации¹

Ссылка для цитирования:

Родионова М. М. Травма академии: в попытках идиорритмической контекстуализации // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2022. Т. 14. № 4. С. 10–28. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.1. EDN: OIDDVT

For citation:

Rodionova M.M. (2022) The Trauma of Academia: on Attempts of Idiorrhythmic Contextualization. *Interaction. Interview. Interpretation.* Vol. 14. No. 4. P. 10–28. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.1.





Родионова Мария Михайловна

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-mail: mmrodionova@hse.ru

Исследование фокусируется на трех сюжетах, разворачивающихся в академии и контекстуализирующих академическую травму. Первый рассматривает проявления классической для социальных наук структурно-агентской дилеммы в университетской среде. Второй обнаруживает механизмы балансирования между требуемой от работника академии объективностью и присущей ему субъективностью, в подавлении которой высвечивается травма. Третий сюжет, построенный вокруг модели идиорритмии Р. Барта, предлагает теоретическое осмысление академии как социального агрегата, пытающегося примирить индивидуальный и коллективный опыт. Рассматриваемые линии аргументации объединяются в единую теоретическую модель, фокусируясь на разных аспектах проявления одного и того же феномена — травмы. Показано, что травма обнаруживает себя в разнообразных аспектах академической жизни: в неформальных практиках, противоречащих

¹ Идиорритмия (фр., opuz., idiorrythmie) — понятие, введенное в научный обиход Роланом Бартом в курсе лекций «Как жить вместе», которое обозначает нейтральный гармонический образ организации совместной жизни, избегающий как предельной индивидуализации, так и крайних форм коллективной общежительности.



формальным правилам, в требованиях объективности, предъявляемых к социальному исследователю в условиях принципиальной неотчуждаемости субъективности последнего; в индивидуализации форм академической жизни при одновременных попытках универсализации академического опыта. Вместе с тем производящая многочисленные противоречия академическая жизнь препятствует их критическому осмыслению. В исследовании отмечаются преимущества и недостатки автоэтнографического метода для преодоления обозначенных дилемм в ситуации рефлексии сотрудником академии своего академического опыта.

Ключевые слова: травма; идиорритмия; критические исследования академического сообщества; объективность и субъективность в социальных науках; идиорритмия академической жизни; насилие

В 1988-м году публикуется статья, фокусирующаяся на институциональных и личностных факторах отказа женщин, работающих в академии, от продолжения карьеры в «башнях из слоновой кости» [Rothblum, 1988], спустя десятилетие в свет выходит сборник статей об управлении конфликтами в сфере высшего образования, озаглавленный как «Ремонт трещин в башне из слоновой кости» [Holton, 1998], а почти через двадцать лет публикуется книга «Трещины в башне из слоновой кости» [Brennan, Magness, 2019], вновь указывающая на моральный кризис академической жизни. Казалось бы, последовательность обозначенных риторических ходов должна была быть развернута в обратном порядке: сначала институт академических исследований обнаружит собственные проблемы, попытается разрешить их и, когда некоторые из них преодолеть не удастся, отметит, что его покидают сами сотрудники академии. Однако ирония обратной хронологии, обнаруживаемая в этом примере, наоборот, удачно иллюстрирует тенденции в обозначенной сфере исследований. Критика академии сменяется попытками предложить варианты разрешения обнаруживаемых в ней проблем, а последние неумолимо возникают вновь, подвергаясь, в свою очередь, новой волне критического осмысления. Одно из возможных объяснений этому схватывается интуитивно: в конечном счете момент, в который сотрудники академии решат обратить освоенные ими модели объяснения и методы исследования на нее саму (или против нее самой?), — лишь вопрос времени.

Фронтир области исследований академической жизни и ме́ста ученых в ней формируется, с одной стороны, социологией науки и социальной эпистемологией, рассматривающими логику работы социального института производства научного знания, с другой стороны — критическими исследованиями академической работы, которые фокусируются на фигуре исследователя. Два обозначенных подхода настолько тесно взаимосвязаны, что их практически невозможно различить [Фуллер, 2018].

Большая доля исследований, вне зависимости от принадлежности к тому или иному концептуальному течению, фокусируется на гендерном аспекте

академической жизни и устройства академии. Исследователи неустанно отмечают, что женщины представлены в академической сфере значительно в меньшей степени, чем мужчины [Brooks, 1997; Shen, 2013; Valian, 2009]. Женщины повсеместно занимают высокие академические позиции реже мужчин, получают повышения в должности медленнее, чем мужчины [Rosser, 2004]. Одним из возможных объяснений этому может быть символический порядок университетской или академической жизни, конструируемый ожиданиями по отношению к языку, дискурсу и телу ее агента и маргинализирующий женщин [Fotaki, 2013]. Исследования показывают, что сотрудники университетов подвержены сравнительно большему профессиональному стрессу, который, в свою очередь, снижает возможности личной и профессиональной реализации сотрудника академии [Opstrup, Pihl-Thingvad, 2016]. Преподавательницы и исследовательницы сталкиваются со стрессом, систематическими проблемами совмещения обязанностей на работе с домашними делами, регулярным недостатком сна [Acker, Armenti, 2004]. И это, очевидно, далеко не исчерпывающий список возможных причин, объясняющих отказ женщин от продолжения карьеры в университете. Необходимо допустить, однако, что это далеко не только женские проблемы: в той или иной степени академическая жизнь жестока по отношению ко всем ученым в ее составе¹. Исследования, проблематизирующие гендерное неравенство в академии, нередко упускают из внимания положение сотрудников, в том числе и мужчин, занятых на младших научных и исследовательских позициях, сталкивающихся со схожими проблемами.

В настоящем исследовании я ставлю перед собой задачу сконструировать объяснительную модель, которая могла бы иначе интерпретировать причины обозначенных проблем — не замыкаясь на герметичной и доминирующей логике, связывающей положение женщин в академической жизни со специфичностью женского опыта или тех черт академии, которые прямо или косвенно маргинализируют их. Таким образом, цель исследования — сформировать контуры идиорритмического подхода, связывающего индивидуальный опыт сотрудника академии со структурными особенностями университетской среды. Идиорритмическая концептуализация, основные положения которой выделены Р. Бартом [Барт, 2016], будучи примененной к академической жизни, благоприятствует включению в объяснительную рамку понятия травмы, призванного отразить и вместить в себя освещенные выше проблемы, с которыми сталкиваются академические исследователи.

Исследование фокусируется на академии, широко понимаемой в качестве совокупности институционализированных черт университетской жизни и составляющих ее правил и практик. Современная академия — специфическое социальное пространство, в котором кафедры, реализующие образовательные программы и поощряющие исследовательскую работу своих сотрудников, сливаются с научно-исследовательскими институтами

¹ Одновременно с этим университет предоставляет некоторым преподавателям и исследователям, занимающим более высокие академические позиции, больший объем возможностей и ресурсов для борьбы со стрессом, нехваткой часов для отдыха и множеством других проблем.



и лабораториями, принимающими, в свою очередь, активное участие в формировании и реализации учебных планов. Как использование понятия «академия», так и указание на связанную с ним фигуру сотрудника академии¹ призвано подчеркнуть слияние разнообразных ипостасей в одну, наблюдаемое в текущей действительности, не представляющей возможностей для четкого разграничения между ролями преподавателя и исследователя [Waddock, 2015].

Эта работа не составляет исключения из множественных критических попыток осмыслить процессы, протекающие в академической жизни, изнутри ее самой. Обстоятельство, при котором академический исследователь непосредственно включается в предмет своего теоретического интереса и, более того, сам предмет исследования — академическую жизнь, — в известной степени создает и оформляет фигуру исследователя, диктует логику теоретического разбирательства. С одной стороны, оно предлагает последовательную концептуализацию феномена травмы, наносимой академией, с другой же стороны, непроизвольно становится в ряд автоэтнографических исследований, связывающих субъективные переживания агента с более широким социальным контекстом. Обращение к автоэтнографии обусловлено не только положением автора, контекстуализирующего свой индивидуальный опыт, но и непосредственно предметом исследования — академической травмой, требующей инструментов ее описания. Автоэтнографический характер работы естественным образом сужает ее фокус до академического опыта автора: академии, реализующей программы высшего профессионального образования и научные исследования в социально-гуманитарной отрасли знания.

Академия и ученый: между социализацией и травматизацией

Социальная теория предложила несколько весьма изящных решений структурно-агентской (англ. structure-agency) дилеммы [Бурдье, 1994; Гидденс, 2005], высвечивающей напряжение между индивидуальной свободой человека и системами, требующими скоординированных коллективных действий. Несколько позднее Маргарет Арчер справедливо отмечала безуспешность попыток интегративного разрешения дилеммы, неизбежно отдающих предпочтение структурам, «через которые» действуют агенты [Archer, 2013: 1–5]. В современном университете, воплощающем институционализированный академический мир, разворачивается аналогичная дилемма. Систематическая теоретическая концептуализация столкновения (социального института и агента), происходящего в академии, зависит от позиции наблюдателя — фигуры, способной к различению [Луман, 2007: 107].

¹ Термин «академик» зарезервирован в русском языковом обиходе и научной практике за статусом члена высшей ступени организации ученых — Академии наук. Ученым званием академик не считается, но в табели о научных рангах находится все же выше звания «профессор».

Наблюдатель с позиции института. Университет тщательно координирует социальные взаимодействия причастных к нему агентов множественными правилами [Гидденс, 2005: 59]. Более того, академия формулирует требования и критерии, которым должны соответствовать агенты, желающие быть (или оставаться) к ней причастными: наличие, количество и качество публикаций, участие в конференциях, успешный опыт работы в академической среде в прошлом и множество других. Социальный институт академии формирует не только правила, регламентирующие, например, бюрократические процессы внутри нее, но и практики [Гидденс, 2005: 15–17]. Именно они в значительной степени обусловливают невидимые барьеры входа, границы академии. К ним относятся, например, умение цитировать при академическом письме, выражать свое критическое несогласие и возмущение позицией академического оппонента в корректных терминах, различение классических авторов в своей дисциплине, владение специфической терминологией и в целом — академическим языком, навык составления корпоративных писем и заявок на гранты. В отличие от преимущественно формально закрепленных правил, предполагающих квантифицируемый результат следования им, воспроизводство практик академической жизни во многом интуитивно. Практики, несмотря на интуитивный характер их считывания, не менее (возможно, даже несколько более) устойчивы, чем формальные правила:

«...Пытаюсь подобрать корректные термины для описания того, что я хочу сказать: не будет ли это слишком сильным необоснованным заявлением? Стираю, переписываю. Еще раз, чуть помягче. Должна ли я сослаться здесь на кого-то, хотя бы формально?.. Мысль вроде бы очевидная и классическая, зачем... Показываю текст коллеге: он вспоминает случай, связанный с тем, что его наставник просил все-таки "на кого-то сослаться, хотя бы для порядка", и советует мне, от греха подальше, тоже сослаться» (запись автоэтнографического дневника: написание введения к текущей статье).

Академии эти процедуры необходимы не только для того, чтобы устанавливать и поддерживать свои институциональные границы, но и в известном смысле для того, чтобы создать и оформить саму фигуру академического ученого. Подготовка, или шире — социализация профессиональных университетских кадров, начинается в академии и продолжается в ней же [Austin, McDaniels, 2006]. В своих нарративах это отмечают сами исследователи, однако в несколько иных терминах: «Я научилась "быть" преподавательницей университета, пережив институциональное давление» [Gil-Gómez, 2017: 189]. Социализация потенциальных академических кадров идет дальше: исследователю необходимо стать воплощением того, что от него ожидает департамент, факультет, кафедра, коллеги и студенты. Набор потенциальных ролевых моделей обширен и варьируется в зависимости от образа, который конструирует сам университет, дисциплинарной принадлежности факультета,



состава и конфигурации отношений внутри каждой конкретной кафедры и других обстоятельств.

Описанный процесс оформления академического ученого происходит, тем не менее, не только силами абстрактной институционализированной системы правил, но и силами других академических ученых. В отличие от множества других сфер, например производства или бизнеса, агенты которых получают необходимое им образование и покидают институт, академические исследователи формируются и в дальнейшем реализуются в одной и той же среде¹. Именно академические ученые, приобретающие неотчуждаемую и едва поддающуюся формальной квантификации экспертизу [Fuller, 1994], в процессе непосредственного преподавания или наставничества оформляют свое последующее поколение и весь институт академии в целом.

Таким образом, с позиции академического мира описанный процесс подготовки и формирования собственных кадров может быть обозначен (и зачастую обозначается) как социализация, то есть описывается в непроблематичных, некритических терминах.

Наблюдатель с позиции агента. Академический ученый, несмотря на то что он действует в рамках, установленных институцией и обсужденных ранее, обладает некоторой, пусть и весьма ограниченной, степенью автономности [Bourdieu, 1988]. Академический агент является автором своего действия, которое при этом реализуется в коридоре возможностей, обозначенных институтом [Schmidt, Langberg, 2007]. Практика академического письма, преподавания, проведения исследований и в целом — практика академической жизни подчинена формальным правилам, одновременно с этим в ней же обнаруживаются элементы стихийности, привносимые самими агентами и известной степенью креативности их индивидуальных действий [Joas, 1996]. Академический исследователь сталкивается с весьма нетривиальной задачей: с одной стороны, не только успешно демонстрировать соответствие формальным требованиям, но и отлично считывать неформальные ролевые ожидания по отношению к себе, с другой стороны — сохранять автономию, индивидуальную свободу и, в конечном счете, собственную субъектность, позволяющую фигуре исследователя не слиться с институтом до степени их неразличимости. Задача осложняется тем, что и требование автономии исследователя в известном смысле — неформальное ожидание, предъявляемое к нему академией.

Этот аргумент раскрывается в иллюстрациях, демонстрирующих проблематичный статус субъектности исследователя в современной академии. Наличествующая автономия преподавателя может оставаться недоступной для фиксации, но ее нехватка схватывается академическим ученым, наоборот, практически моментально и нередко оказывается болезненной. Исследователи обнаруживают, например, внутренний конфликт между необходимостью следования правилам проведения занятий, комментирования и оценки работ

¹ Имеется в виду, разумеется, академическая среда, взятая как целое: в результате академической мобильности исследователи ротируются между университетами, тем не менее, оставаясь в академии, одной и той же в целом относительно герметичной, социальной системе.

своих студентов и желанием эмоционально поддержать их в случаях, когда затрагиваемая в рецензируемой работе тема связана с сензитивными личными переживаниями студента [Gupta, 2021]. При этом фиксируется отсутствие сформированных моделей эмоциональной работы в академии [Gupta, 2021]. В сравнении с мужчинами в эмоциональную академическую работу чаще вовлекаются женщины-академики наряду с сотрудниками факультетов, занятыми на менее высоких академических позициях [Tunguz, 2016].

«Сегодня встретила своих бывших студентов недалеко от учебного корпуса. Они обсуждали, как один из них попал в драку из-за политических убеждений. Они заметили меня, мы разговорились. По существу я ничего не сказала, попросила, кажется, только беречь себя. Мы свели все к шутке. Другой студент спросил, когда мне можно прислать текст исследования, чтобы получить комментарии» (запись автоэтнографического дневника: сентябрь).

Практики эмоциональных личностных проявлений, доступные академическому исследователю, будь то неформальные встречи с коллегами или улыбки на кофе-брейках конференций, также в известном смысле рутинизированы и опривычены. Все, что хотя бы потенциально может предполагать необходимость эмоционального включения, как я замечаю выше, с легкостью рутинизируется. Это характерно, впрочем, и для сфер, отличных от академической жизни.

С позиции академического ученого опыт интеграции в университетскую и шире — научную среду как таковую может быть описан в том числе в критических тонах. Этому способствует противоречивость ожиданий по отношению к нему: автономность, эмоциональная вовлеченность в работу и независимость исследователя в вынесении суждений, требуемые формальными структурами, ими же и ограничиваются. В подобном контексте процесс социализации с точки зрения института оборачивается своей противоположностью для агента, обозначаемой в терминах травматизации. Концептуальное различие между социализацией и травматизацией заключается не в фактическом содержании протекающих в академическом институте процессов, но в позиции маркирующего их.

Контекстуализация опыта студенток, ранее переживших насилие, показывает, что университет обладает ограниченными возможностями интегрировать их [Wagner, Lynn Magnusson, 2005]. Академия не только ограничивает себя от столкновения с предшествующим опытом своих потенциальных агентов, но и едва ли способна поддержать уже состоявшегося академического исследователя, столкнувшегося с тяжелым событием. Некоторые исследователи, рефлексируя тяжелый опыт утраты близких вне университетской жизни, отмечают, что академия оставляет ограниченные возможности для нарративизации боли, поиска эмоциональной поддержки среди коллег и «продвигает тех, кто может сделать потери и трудности невидимыми, кто может оставаться продуктивным, несмотря на кризис» [Harrison, 2021: 699].



Прямая и диффузная власть закреплены на уровне как правил, так и практик, что не только легитимирует институциональное давление, но и скрывает его наличие. Оказываясь в известной степени ожидаемым и встроенным в ткань академической практики, оно предстает незаметным для агентов, продолжающих самовоспроизводство элементов властного дискурса. Травма академии обнаруживает себя в условиях, когда от академического исследователя, испытывающего на себе это давление, ожидается некритическое воспроизводство и легитимация властного дискурса, собственно, довлеющего над ним. Именно это обстоятельство контекстуализирует сложности, связанные с попытками описания и осмысления травмы: устоявшееся положение дел нормализуется с помощью правил и практик, охраняющих и поддерживающих институциональные границы академии изнутри.

Объективность и субъективность: что такое академическая травма?

Социальный институт академии, воплощающий и науку как таковую, требует объективности от ученых. В свою очередь исследователь, обладающий набором разнообразных социальных характеристик, собственными политическими взглядами и личными пристрастиями, до известной степени субъективен. Сознательно опуская вопрос о том, что считать объективностью или, по крайней мере, правдоподобностью применительно к научному знанию [Дастон, Галисон, 2007; Acker, Barry, Esseveld, 1983], я отмечаю напряжение между двумя оппозициями.

Оно усиливается в дискурсе социальных наук, характеризующихся совпадением объекта и субъекта познания и осложняющих процесс ограничения собственной ангажированности в случаях, когда необходимость подобного ограничения постулируется академией. Указания на то, что строгое предпочтение абсолютной объективности тоже представляет собой специфическую форму ангажированности, зачастую игнорируются. Университет и академия, по крайней мере, в тех их частях, что непосредственно связаны с социальными науками, пытаются преодолеть возникающую проблему: вводные лекции по магистральным теоретическим курсам по программам подготовки как социологов, так и политологов традиционно начинаются с широко растиражированной максимы, предложенной Максом Вебером: «...политике не место в аудитории» [Вебер, 1990: 721]. Нередко интерпретация, предлагаемая академическими преподавателями, несколько выходит за границы предложенного М. Вебером аргумента: постулируется необходимость отказа человека, желающего стать полноправным членом академического мира, от субъективных взглядов и страстей per se, то есть далеко не только во время непосредственной научной работы. В таких случаях особенно неудобными для фрейма установочной университетской лекции представляются справедливые комментарии некоторых студентов о том, что сам М. Вебер в моменты, свободные от чтения лекций и непосредственной академической работы,

принимал участие в составлении Веймарской конституции и в целом активно участвовал в политике [Каубе, 2016].

Абстрактная дилемма достижения объективности научного социального знания разрешается на практике путем последовательного репрессирования субъектности будущего академического исследователя. Механизм укрощения субъектности граничит с попытками ее умерщвления, косвенные свидетельства легитимизации которых обнаруживаются далеко не только в трудах М. Вебера: «Наука же и умерщвляет живое, чтобы постичь его отношения и взаимосвязи; <...> всякое движение сводит к количеству проделанной работы» [Теннис, 2002: 14], или, например, еще раньше: «Научный воздух убивает науку» [Руссо, цит. по: Гессен, 1923: 44].

Некоторые исследователи отмечают, что травма может сопровождать трансформации и динамичные изменения, которым подвергается жизненный мир и опыт человека [Alexander, 2004]. В этом и обнаруживает себя академическая травма: субъект(ив)ность ограничивается, укрощается, репрессируется, умерщвляется ради достижения объективности. Это весьма оправдано в ситуации академической работы «здесь и сейчас» — чтения лекции, ведения семинара, проведения исследования, написания научного текста. Проблематично то, что академия — усилиями воспроизводящих ее ученых — претендует на полноту распоряжения субъектностью своего агента.

Травма академической жизни — это *отказ академического ученого от своей субъектности, который, тем не менее, не гарантирует желанной и ожидаемой объективности.* Этого отказа никогда не бывает достаточно: ангажированность исследователя неотчуждаема, а значит, как бы он ни старался, какие бы усилия ни прикладывал, он остается подвержен влиянию своих взглядов, индивидуальных характеристик, ему присущих, и в целом ориентирован на собственный социальный опыт при производстве научного знания и, тем более, в частной жизни. Подобное обстоятельство вынуждает академического ученого непрерывно, как при содействии коллег, так и самостоятельно, укрощать свою субъективность. Драматичность травмы усиливается тем обстоятельством, что интернализированное представление об идеале — объективном и независимом академическом исследователе — оказывается недостижимо на практике.

Определения травмы [Felman, Laub, 1992; Santner, 1992; LaCapra, 2001], равно как, например, и определения насилия [De Haan, 2008; Imbusch, 2003], множественны. Исследователи насилия, в свою очередь, сходятся в одном: непосредственное наблюдение насилия парализует исследовательскую рефлексию, блокирует возможности описания и объяснения феномена [Жижек, 2010: 7]. Аналогично этому в качестве неотъемлемого симптома психологической травмы выделяется невозможность ее вербализации [Van der Kolk, Van der Hart, 1991]: она проявляется как в избегании разговора о шокирующем событии — невозможности говорить о нем *per se*, так и в бурных эмоциональных реакциях, обилие которых, в свою очередь, также не позволяет вербализировать переживания субъекта.



Положение ученого также не способствует рефлексии травмы. С одной стороны, для ее вербализации необходима некоторая степень субъектности, которая, как было показано ранее, репрессируется. Вербализация травмы и укрощение субъектности — два противоположно направленных процесса: протекание одного требует приостановки другого. С другой стороны, как показывают исследователи травмы, в ходе активно продолжающейся травматизации ее рефлексия невозможна [Janoff-Bulman, Frantz, 1996]. Это характерно и для положения академического ученого: будучи активно вовлеченным в травмирующие события, он едва ли способен отрефлексировать собственное положение.

«...Сначала мне казалось, что мой текст, о котором я знала только, что хочу назвать его "травма и академия" не стоит того, чтобы быть написанным, и долго сомневалась. <...> Я читаю невероятное количество материалов и постов о том, как академические исследователи переживают травму, и сопереживаю: недосып, гневные письма рецензентов, крушение надежд, боль, шутки от студентов за спиной, переживания, невыполнимые дедлайны проектов <...>. Большинство из этих записей — посты на форумах или письма в редакции журналов, очень мало публикаций» (запись автоэтнографического дневника: во время сбора корпуса литературы).

Тем не менее «номинализация», то есть обозначение травмы, несмотря на сложности ее вербализации, — нередко неотъемлемый или, по крайней мере, желательный компонент для ее преодоления. Он фигурирует также и в исследованиях, посвященных травме [Петровская, 2012: 98]. Известны немногочисленные попытки осмыслить академическую травму, представленные автоэтнографическими исследованиями, указывающими, например, на болезненный опыт (ре-)социализации в институциональных рамках академии при попытке сохранения собственной идентичности [Thomas, 2018] или сложности легитимации неклассических методов исследований в сопротивлении институциональному давлению [Barton-Bridges, 2022]. Эти работы ценны как примеры преодоления обозначенного парадоксального состояния: ученые, отмечая сложность своего положения, посвящают исследования травме, сформировавшейся в институции, где последние и проводятся.

Некоторые авторы, наоборот, осмысляют академический опыт как терапевтический, то есть способствующий преодолению травмы. Как отмечает Б. Бэтцер [Batzer, 2016], в качестве одного из инструментов для этой цели рассматривается академическое письмо. Тем не менее, несмотря на фокус своей работы, автор вынужден посвятить значительный ее объем объяснению того, почему субъектность важна для академического текста [Batzer, 2016]. Иными словами, проблема также осознается и исследователями, изучающими терапевтическую функцию академии, однако осмысляется ими иначе. Примечательно также и то, что академия рассматривается как терапия травмы, которая была

нанесена ею же [Michell, 2018]. Академия действительно может выступить площадкой или сценой, на которой травма будет преодолена, но едва ли она располагает ресурсами для непосредственной терапии, — это признает и вышеупомянутая исследовательница, отмечающая роль профессиональной психологической помощи в терапии травмы [Michell, 2018].

Таким образом, академический ученый оказывается не только в центре структурно-агентской дилеммы, разворачивающейся в научной институции: структура производства научного знания также требует от него объективности и потому ожидает его усилий по укрощению собственной субъективности. Из-за специфики социального знания и неотчуждаемых социальных характеристик его производителя объективность оказывается едва ли достижима. Субъектность, выступающая желательным условием для рефлексии собственного состояния, подавляется, препятствуя осмыслению академической травмы.

Коллективное и индивидуальное: идиорритмическая травма на академической сцене

Интеграция травмы в доминирующую модель объяснения — менеджериальную логику образования [Willmott, 1994] проблематична, что и обуславливает обращение к принципиально иной традиции в концептуализации форм социальной жизни. Две рассмотренные ранее дилеммы: между структурой и агентом, объективностью и субъективностью, формирующие академическую травму, — обозначают стартовые позиции для идиорритмической контекстуализации травмы в академии. Это становится возможным благодаря модели постструктуралистского объяснения форм социальных конфигураций, предложенной Роланом Бартом. Его объяснение лаконично суммирует напряжение между индивидуальными и структурными элементами, в том числе агентом и структурой, субъективностью и объективностью, и предлагает их примирение в промежуточной, гармоничной позиции.

Академическая карьера Барта и ее перипетии — преподавание в Египте, Румынии, Марокко, динамичная смена тем его исследований, — удивительным образом резонируют с концептуальной моделью, предложенной им в курсе лекций «Как жить вместе» в Коллеж де Франс в 1976-м году [Барт, 2016]. Мечтая о коллективности без тотальной агрегации, Ролан Барт, избранный профессором с перевесом в один голос, выстраивает курс семинаров вокруг попытки примирения коллективной и индивидуальной жизни; опыта независимости субъекта и общежительности коллектива. Объединение крайних организационных форм становится возможным благодаря сфокусированному обращению к понятию идиорритмии, которое позже станет центральным предметом курса и было заимствовано Р. Бартом из книги «Греческое лето» Жака Лакарьера [Lacarrière, 1976], изданной в год начала семинаров. Любовью Барта к древнегреческой философии и мифологии объясняется непривычное



написание понятия «идиорритмия» 1, тавтологически совмещающего в себе, по его же собственному замечанию [Барт, 2016: 51–52], два древнегреческих слова: ἴδιος (idios: частный, личный, отделенный) и ρυθμός (rhuthmos: время, пропорция, стихийность движения).

Идиорритмия — «фантазм способа жизни, порождающий силы и различия» [Барт, 2016: 46] — выступает желаемым образом соотношения индивидуального и коллективного. Идиорритмия нуждается в сцене, на которой она разворачивалась бы [Барт, 2016: 50]: сначала концепт «собирается» на примере религиозной, монастырской жизни. Промежуточная форма между киновийными общежитиями и отшельничеством, описанная Ж. Лакарьером [Lacarrière, 1976: 40], и ложится в основу бартовского фантазма об идиорритмии. Попытка же поместить идиорритмию на академическую сцену обуславливается не только успешным опытом Р. Барта в использовании концепта для анализа различных повседневных сюжетов, но и структурным сходством образовательных и религиозных организаций.

Академическая жизнь идиорритмична. От превращения в тотальную общежительность ее уберегает тщательно выстраиваемая дистанция между агентами: организация рабочих и рекреационных пространств в университете, индивидуализирующая академический быт; четкое регламентирование физических контактов; правила использования имен академических ученых и коллег при обращении к ним или их упоминании. От предельной индивидуализации академия оберегает себя путем установления коллективного, общего для всех ритма жизни: сетка расписания унифицирует разрозненные опыты, время задается и в бо́льших промежутках — учебные семестры, сессии, каникулы. Академия препятствует предельной индивидуализации опыта, стимулируя создание междисциплинарных коллективов и научных групп, она же предполагает частичную открытость публике, что обеспечивается публичными лекциями и выездными семинарами.

Гармоническое положение академического исследователя между двумя противоположными способами организации академической жизни оказывается желательным и закрепляется в качестве ориентира, к которому стоит стремиться. Тем не менее оно, как отмечают исследователи и как следует из предложенной выше контекстуализации, недостижимо [Teeuwen, 2020]. Травма обнаруживает себя тогда, когда субъект не способен занять нейтральное положение: с одной стороны, не может закрепить и сохранить пространство для собственного одиночества в академии, а с другой — не формирует соразмерности с коллективным академическим опытом.

Критические попытки анализа идиорритмии академической жизни подкрепляют этот аргумент: усилия пропорционально организовать индивидуальный и коллективный опыт на этой сцене весьма нелегки и встречают множество

¹ Непривычное написание термина сохранило в себе ошибочное, по указанию самого Барта, удвоение согласных [Барт, 2016: 74], которое он решил не исправлять. Позже именно такой вариант закрепится среди исследователей как универсальное указание на то, что имеется в виду именно представление об идиорритмии, представленное Роланом Бартом, а не широкий контекст употребления понятия *per se*.

препятствий на своем пути [Jones, 2021]. Одним из продуктивных решений проблемы видятся автоэтнографические исследования жизни в академии, которые, в силу специфики метода, позволяют связать индивидуальные переживания с более широким социальным контекстом и коллективным опытом.

Обсуждение

Три рассмотренных оппозиции: между академической структурой, характеризующейся формальными правилами, и агентом, воспроизводящим неформальные практики; между требуемой и необходимой объективностью и неотчуждаемой субъективностью; между коллективными элементами академической организации и индивидуальным опытом исследователя, — суть различные способы контекстуализации одного и того же феномена, обозначаемого как академическая травма. Травма, рассмотренная в контексте академической жизни, с трудом поддается системной концептуализации и «сопротивляется» попыткам ее описания и объяснения, что следует из механизма ее устройства. Травма формируется, когда академический ученый воспроизводит властные дискурсивные практики, довлеющие над ним самим, когда оказывается не способен занять промежуточное гармоничное положение между индивидуальной и коллективной конфигурацией университетской жизни и когда в конечном счете укрощает и репрессирует собственную субъектность. Это блокирует дальнейшие возможности критического осмысления травмирующего события, поскольку субъектность, вовлечение которой в рефлексию в известной степени необходимо, оказывается недоступна.

Обнаруживается еще одно обстоятельство: описание осознанной, или по крайней мере ощущаемой, травмы кардинально отличается от процесса признания ее существования. Ритм академической жизни препятствует этому открытию: формальные правила и неформальные практики, систематические усилия по приближению к идеалу объективного ученого и сокращение субъективности, балансирование между коллективным и индивидуальным академическим состоянием — все это, наоборот, либо не способствует критическому осмыслению собственного положения, либо подкрепляет суждения о том, что все устроено и происходит именно так, как и должно. Условием, благоприятствующим рефлексии травмы, как я предполагаю, является неформализованное наблюдение за другим в его академической повседневности: наблюдателю оказывается доступен взгляд на травмирующую ситуацию, недоступный непосредственно вовлеченному в нее. Это наблюдение, в свою очередь, может провоцировать размышление наблюдателя о собственной травме.

Как автор собственного материала я задаюсь вопросом, почему мое исследование, заявленное как автоэтнографическое, стилистически отличается от образцовых работ в этой области [Acker, Armenti, 2004; Thomas, 2018; Tunguz, 2016] и более походит на теоретическое разбирательство? Вероятно, это связано с причинами, по которым о травме тяжело говорить прямо. Более того, я полагаю, что вербализация травмы ищет самый легкий путь из возможных:



в уже освоенном и интернализированном — теоретическом — жанре письма; в терминах и оборотах, которые «вертятся на языке»; в привычных академическому исследователю способах описания окружающей действительности. Автоэтнография оказывается методом, в большей степени свободным от давления институционализированных правил, но метатекстуальный взгляд на представленное описание свидетельствует, что они будут воспроизводиться согласно заданной инерции и в отсутствие формального вынуждающего к тому обстоятельства. Академическая жизнь вырабатывает механизмы нормализации сопровождающих ее противоречий: указания на травму воспринимаются как жалобы, которые не должны адресоваться академии и всерьез рассматриваться в сообществе, претендующем на статус академического. Тем не менее выражения академической травмы производятся на языке академии и формулируются в терминах ее дисциплин: в этой ситуации вряд ли найдется кто-то, способный понять академического исследователя лучше, чем его коллега.

Литература

Барт Р. Как жить вместе: романические симуляции некоторых пространств повседневности: конспекты лекций в Коллеж де Франс, 1976–1977 гг. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. EDN: ZCMUFZ Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1994. № 2. С. 137–150.

Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова, П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. С. 707–753.

Гессен С. И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. М.: Издательство «Школа-Пресс», 1923.

Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации (2-ое издание). М.: Издательство «Академический проект», 2005. EDN: TNIRKP

Дастон Л., Галисон П. Объективность. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

Жижек С. О насилии. М.: Издательство «Европа», 2010. EDN: RCCKSZ

Каубе Ю. Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох. М.: Издательский дом «Дело», 2016.

Луман Н. «Что происходит?» и «Что за этим кроется?». Две социологии и теория общества // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 3. С. 100–117. EDN: JWUSBT

Петровская Е. Безымянные сообщества. М.: Фаланстер, 2012. EDN: RDSPVP

Теннис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002.

Фуллер С. Социология интеллектуальной жизни. Карьера ума внутри и вне академии. М.: Издательский дом «Дело», 2018.

Acker J., Barry K., Esseveld J. Objectivity and Truth: Problems in Doing Feminist Research // Women's Studies International Forum. 1983. Vol. 6. № 4. P. 423–435.

Acker S., Armenti C. Sleepless in Academia // Gender and Education. 2004. Vol. 16. № 1. P. 3–24. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0954025032000170309

Alexander J. C. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press, 2004. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof%3Aoso%2F9780195160840.003.0013

Archer M. S. Structure, Agency and the Internal Conversation. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139087315

Austin A. E., McDaniels M. Preparing the Professoriate of the Future: Graduate Student Socialization for Faculty Roles // Higher Education: Handbook of Theory and Research / Ed. by J. C. Smart. Dordrecht: Springer, 2006. P. 397–456. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-4512-3_8

Barton-Bridges R. Beyond the Ivory Tower: A First-Person Exploration of Navigating the Intersections of Academia and Community. Greater Victoria: University of Victoria, 2022.

Batzer B. Healing Classrooms: Therapeutic Possibilities in Academic Writing // Composition Forum. 2016. Vol. 34. P. 1–10.

Bourdieu P. Homo Academicus. Redwood: Stanford University Press, 1988.

Brennan J., Magness P. Cracks in the Ivory Tower: The Moral Mess of Higher Education. Oxford: Oxford University Press, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190846282.001.0001

Brooks A. Academic Women. Maidenhead: Open University Press, 1997.

De Haan W. Violence as an Essentially Contested Concept // Violence in Europe. New York: Springer, 2008. P. 27–40. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-09705-3_3

Felman Sh., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. New York: Taylor & Francis, 1992. DOI: https://doi.org/10.5860/choice.29-6108

Fotaki M. No Woman is Like a Man (in Academia): The Masculine Symbolic Order and the Unwanted Female Body // Organization Studies. 2013. Vol. 34. № 9. P. 1251–1275. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0170840613483658

Fuller S. The Constitutively Social Character of Expertise // International Journal of Expert Systems. 1994. Vol. 7. № 1. P. 51–64.

Gil-Gómez E.M. Staging Women's Lives in Academia: Gendered Life Stages in Language and Literature Workplaces // Visibilities: A Woman Faculty of Color's Search for a Disabled Identity That Fits / Ed. by M. A. Massé, N. Bauer-Maglin. New York: SUNY Press, 2017. P. 189–202.

Gupta A. Emotions in Academic Writing/Care-Work in Academia: Notes Towards a Repositioning of Academic Labor in India (& Beyond) // Academic Labor: Research and Artistry. 2021. Vol. 5. № 1. Harrison K. L. Making Space for Grief in Academia // JAMA. 2021. Vol. 326. № 8. P. 699–700. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2021.13539

Holton S. A. Mending The Cracks in the Ivory Tower. Bolton: Anker, 1998.

Imbusch P. The Concept of Violence // International Handbook of Violence Research. Dordrecht: Springer, 2003. P. 13–39. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-306-48039-3_2

Janoff-Bulman R., Frantz C.M. The Loss of Illusions: The Potent Legacy of Trauma // Journal of Loss & Trauma. 1996. Vol. 1. № 2. P. 133–150. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15325029608412837 *Joas H.* The Creativity of Action. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Jones E. How to Learn Together, Apart // Critical Inquiry. 2021. Vol. 47. № 2. P. 123–127.

LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001. DOI: https://doi.org/10.2307/3685496

Lacarrière J. L'été grec: une Grèce quotidienne de 4000 ans. Paris: Plon, 1976.

Michell D. Academia as Therapy // Women Activating Agency in Academia / Ed. by A.L. Black, S. Garvis, New York; Routledge, 2018. P. 89–99. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9781315147451-9

Opstrup N., Pihl-Thingvad S. Stressing academia? Stress-as-offence-to-self at Danish universities // Journal of Higher Education Policy and Management. 2016. Vol. 38. № 1. P. 39–52. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1360080X.2015.1126895

Rosser S. V. The Science Glass Ceiling: Academic Women Scientist and the Struggle to Succeed. New York: Routledge, 2004. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/97802033337752

Rothblum E.D. Leaving the Ivory Tower: Factors Contributing to Women's Voluntary Resignation from Academia // Frontiers: A Journal of Women Studies. 1988. P. 14–17. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3346465

Santner E. History beyond the Pleasure Principle: Thoughts on the Representation of Trauma // Probing the Limits of Representation: Nazism and the Final Solution / Ed. by S. Friedländer. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

Schmidt E. K., Langberg K. Academic Autonomy in a Rapidly Changing Higher Education Framework: Academia on the Procrustean Bed? // European Education. 2007. Vol. 39. № 4. P. 80–94. DOI: http://dx.doi.org/10.2753/EUE1056-4934390406

Shen H. Inequality Quantified: Mind the Gender Gap // Nature. 2013. Vol. 495. № 7439. P. 22–24. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/495022a



Teeuwen R. "The Dream of a Minimal Sociality: Roland Barthes" Skeptic Intensity // Theory, Culture & Society. 2020. Vol. 37. № 4. P. 119–134. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0263276416659695

Thomas M. Trauma, Harry Potter, and the Demented World of Academia // The Journal of Educational Thought. 2018. Vol. 51. № 2. P. 184–203. DOI: https://doi.org/10.11575/jet.v51i2.58452

Tunguz S. In the Eye of the Beholder: Emotional Labor in Academia Varies with Tenure and Gender // Studies in Higher Education. 2016. Vol. 41. № 1. P. 3–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2014.914919

Valian V. Beyond Gender Schemas: Improving the Advancement of Women in Academia // Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy. 2009. Vol. 20. № 3. P. 198–213. DOI: http://dx.doi.org/10.1353/hyp.2005.0111

Van der Kolk B. A., Van der Hart O. The Intrusive Past: The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma // American Imago. 1991. Vol. 48. № 4. P. 425–454.

Waddock S. Intellectual shamans. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Wagner A., Lynn Magnusson J. Neglected Realities: Exploring the Impact of Women's Experiences of Violence on Learning in Sites of Higher Education // Gender and Education. 2005. Vol. 17. № 4. P. 449–461. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09540250500145189

Willmott H. Management Education: Provocations to a debate // Management Learning. 1994. Vol. 25. N 1. P. 105–136.

Сведения об авторе:

Родионова Мария Михайловна — аспирант, преподаватель кафедры анализа социальных институтов Департамента социологии, НИУ ВШЭ, стажерисследователь Лаборатории политико-психологических исследований Департамента политики и управления, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. E-mail: mmrodionova@hse.ru. РИНЦ AuthorID: 1174398; ORCID: 0000-0002-2246-379X; ReasearcherID: AAY-7623-2021

Статья поступила в редакцию: 20.10.2022 Принята к публикации: 10.12.2022

The Trauma of Academia: on Attempts of Idiorrhythmic Contextualization¹

DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.1

Maria M. Rodionova HSE University, Moscow, Russia E-mail: mmrodionova@hse.ru

The study focuses on three narratives as they unfold within the academy and contextualize academic trauma. The first examines the manifestations of the classical social science structural-agency dilemma in the university setting. The second reveals the mechanisms of balancing

¹ Idiorrhythmia is a concept introduced by Roland Barthes in his course "How to Live Together". It refers to a neutral, harmonic way of organizing life-together. Idiorrhythmia avoids both extreme individualization and excessive form of communal living.

between the objectivity demanded of the academicians and their inherent subjectivity, in the suppression of which trauma is highlighted. The third theme, built around R. Barthes' model of idiorrhythmia, offers a theoretical understanding of the academy as a social aggregate that attempts to harmonize individual and collective experience. The lines of argument are combined into a single theoretical model, focusing on different aspects of the manifestation of the same phenomenon — trauma. Trauma reveals itself in various aspects of academic life: in informal practices that contradict formal rules, in the demands for objectivity imposed on the social researcher under the conditions of their inalienable subjectivity, in the individualization of academic life while simultaneously attempting to universalize the experience of it. At the same time, the multiple contradictions of academic life prevent critical reflection on them. The study notes the advantages and drawbacks of the autoethnographic approach to overcoming these dilemmas in the situation of the academic's reflection on their academic experience.

Keywords: trauma; idiorrhythmia; critical inquiry of academia; objectivity and subjectivity in social sciences; idiorrhythmic conceptualization of academic life; violence

References

Acker J., Barry K., Esseveld J. (1983) Objectivity and Truth: Problems in Doing Feminist Research. *Women's Studies International Forum*. Vol. 6. No. 4. P. 423–435.

Acker S., Armenti C. (2004) Sleepless in Academia. *Gender and Education*. Vol. 16. No. 1. P. 3–24. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0954025032000170309

Alexander J. C. (2004) *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof%3Aoso%2F9780195160840.003.0013

Archer M.S. (2003) *Structure, Agency and the Internal Conversation*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139087315

Austin A.E., McDaniels M. (2006) Preparing the Professoriate of the Future: Graduate Student Socialization for Faculty Roles. In: J.C. Smart (ed.) *Higher Education: Handbook of Theory and Research*. Dordrecht: Springer. P. 397–456. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-4512-3_8

Barthes R. (2016) Kak zhit' vmeste: romanicheskie simulyacii nekotoryh prostranstv povsednevnosti. Konspekty lekcij v Kollezh de Frans, 1976–1977 gg. [How to Live Together: Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces]. Moscow: Ad Marginem Press. (In Russ.) EDN: ZCMUFZ

Barton-Bridges R. (2022) Beyond the Ivory Tower: A First-Person Exploration of Navigating the Intersections of Academia and Community. Greater Victoria: University of Victoria.

Batzer B. (2016) Healing Classrooms: Therapeutic Possibilities in Academic Writing. *Composition Forum*. P. 1–10.

Bourdieu P. (1988) Homo Academicus. Redwood: Stanford University Press.

Bourdieu P. (1993) Sotsial'noye prostranstvo i simvolicheskaya vlast' [Social Space and Symbolic Power]. *THESIS: Theory and History of Economic and Social Institutions and Systems*. No. 2. P. 137–150. (In Russ.)

Brennan J., Magness P. (2019) *Cracks in the Ivory Tower: The Moral Mess of Higher Education*. Oxford: Oxford University Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780190846282.001.0001

Brooks A. (1997) Academic women. Maidenhead: Open University Press.

Daston L., Galison P. (2007) Ob'yektivnost' [Objectivity]. Moscow: NLOBooks. (In Russ.)

De Haan W. (2008) Violence as an Essentially Contested Concept. *Violence in Europe*. New York: Springer. P. 27–40. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-09705-3_3

Felman Sh., Laub D. (1993) *Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History.* New York: Taylor & Francis. DOI: https://doi.org/10.5860/choice.29-6108



Fotaki M. (2013) No Woman is Like a Man (in Academia): The Masculine Symbolic Order and the Unwanted Female Body. *Organization Studies*. Vol. 34. No. 9. P. 1251–1275. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0170840613483658

Fuller S. (1994) The Constitutively Social Character of Expertise. *International Journal of Expert Systems*. Vol. 7. No. 1. P. 51–64.

Fuller S. (2018) *Sociologiya intellektual'noj zhizni. Kar'era uma vnutri i vne akademii.* [The Sociology of Intellectual Life. The Career of the Mind in and around the Academy]. Moscow: Publishing House "Delo". (In Russ.)

Giddens A. (2005) *Ustroenie obschestva: ocherk teorii strukturacii (2-oe izdanie)* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (2nd ed)]. Moscow: Izdatelstvo "Akademicheskij proekt". (In Russ.) EDN: TNIRKP

Gil-Gómez E.M. (2017) Staging Women's Lives in Academia: Gendered Life Stages in Language and Literature Workplaces. In: M. A. Massé, N. Bauer-Maglin (eds) *Visibilities: A Woman Faculty of Color's Search for a Disabled Identity That Fits*. New York: SUNY Press. P. 189–202.

Gupta A. (2021) Emotions in Academic Writing/Care-Work in Academia: Notes Towards a Repositioning of Academic Labor in India (& Beyond). *Academic Labor: Research and Artistry*. Vol. 5. No. 1.

Harrison K.L. (2021) Making Space for Grief in Academia // JAMA. Vol. 326. No. 8. P. 699–700. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2021.13539

Hessen S.I. (1923) *Osnovy pedagogiki: Vvedeniye v prikladnuyu filosofiyu* [Basics of pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. Moscow: Izdatelstvo "Shkola-Press". (In Russ.)

Holton S. A. (1998) Mending The Cracks in the Ivory Tower. Bolton: Anker.

Imbusch P. (2003) The Concept of Violence. *International Handbook of Violence Research*. Dordrecht: Springer. P. 13–39. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-306-48039-3_2

Janoff-Bulman R., Frantz C. M. (1996) The Loss of Illusions: The Potent Legacy of Trauma. *Journal of Loss & Trauma*. Vol. 1. No. 2. P. 133–150. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15325029608412837

Joas H. (1996) The Creativity of Action. Chicago: University of Chicago Press.

Jones E. (2021) How to Learn Together, Apart. Critical Inquiry. Vol. 47. No. 2. P. 123–127.

Kaube J. (2016) *Maks Veber: zhizn' na rubezhe epokh* [Max Weber: Life at the Turn of Eras]. Moscow: Publishing House "Delo". (In Russ.)

LaCapra D. (2001) *Writing History, Writing Trauma*. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Lacarrière J. (1976) *L'été grec: une Grèce quotidienne de 4000 ans*. Paris: Plon.

Luhmann N. (2007) «Chto proishodit?» i «Chto za etim kroetsya?». Dve sociologii i teoriya obschestva ["What Is the Case?" and "What Lies Behind It?" The Two Sociologies and The Theory of Society]. Sociologicheskoe obozrenie [Sociological Review]. Vol. 6. No. 3. P. 100–117. EDN: JWUSBT (In Russ.)

Michell D. (2018) Academia as Therapy. In: A. L. Black, S. Garvis *Women Activating Agency in Academia*. Routledge. P. 89–99. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9781315147451-9

Opstrup N., Pihl-Thingvad S. (2016) Stressing academia? Stress-as-offence-to-self at Danish universities. *Journal of Higher Education Policy and Management*. Vol. 38. No. 1. P. 39–52. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1360080X.2015.1126895

Petrovskaya E. (2012) *Bezymyannyye soobshchestva* [Unnamed communities]. Moscow: Falanster. (In Russ.) EDN: RDSPVP

Rosser S.V. (2004) *The Science Glass Ceiling: Academic Women Scientist and the Struggle to Succeed.* New York: Routledge, 2004. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9780203337752

Rothblum E.D. (1988) Leaving the Ivory Tower: Factors Contributing to Women's Voluntary Resignation from Academia. *Frontiers: A Journal of Women Studies*. P. 14–17. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3346465

Santner E. (1992) History beyond the Pleasure Principle: Thoughts on the Representation of Trauma. In: S. Friedländer (ed.) *Probing the Limits of Representation: Nazism and the Final Solution*. Cambridge: Harvard University Press.

Schmidt E. K., Langberg K. (2007) Academic Autonomy in a Rapidly Changing Higher Education Framework: Academia on the Procrustean Bed? *European Education*. Vol. 39. No. 4. P. 80–94. DOI: http://dx.doi.org/10.2753/EUE1056-4934390406

Shen H. (2013) Inequality Quantified: Mind the Gender Gap. *Nature*. Vol. 495. No. 7439. P. 22–24. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/495022a

Teeuwen R. (2020)"The Dream of a Minimal Sociality: Roland Barthes" Skeptic Intensity. *Theory, Culture & Society*. Vol. 37. No. 4. P. 119–134. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0263276416659695

Thomas M. (2018) Trauma, Harry Potter, and the Demented World of Academia. *The Journal of Educational Thought*. Vol. 51. No. 2. P. 184–203. DOI: https://doi.org/10.11575/jet.v51i2.58452

Tönnies F. (2002) *Obshchnost' i obshchestvo* [Community and Society]. Saint Petersburg: Vladimir Dal'. (In Russ.)

Tunguz S. (2016) In the Eye of the Beholder: Emotional Labor in Academia Varies with Tenure and Gender. *Studies in Higher Education*. Vol. 41. No. 1. P. 3–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2014.914919

Valian V. (2009) Beyond Gender Schemas: Improving the Advancement of Women in Academia. *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*. Vol. 20. No. 3. P. 198–213. DOI: http://dx.doi.org/10.1353/hyp.2005.0111

Van der Kolk B. A., Van der Hart O. (1991) The Intrusive Past: The Flexibility of Memory and the Engraving of Trauma. *American imago*. Vol. 48. No. 4. P. 425–454.

Waddock S. (2015). Intellectual shamans. Cambridge: Cambridge University Press.

Wagner A., Lynn Magnusson J. (2005) Neglected Realities: Exploring the Impact of Women's Experiences of Violence on Learning in Sites of Higher Education. *Gender and Education*. Vol. 17. No. 4. P. 449–461. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09540250500145189

Weber M. (1990) Nauka kak prizvaniye i professiya [Science as a Vocation]. *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected Works]. Transl. by German A. F. Filipova, P. P. Gaidenko. Moscow: Progress. (In Russ.) Willmott H. (1994) Management Education: Provocations to a debate. *Management Learning*. Vol. 25. No. 1. P. 105–136.

Žižek Sl. (2010) O nasilii [On Violence]. Moscow: Izdatelstvo "Yevropa". (In Russ.) EDN: RCCKSZ

Author bio:

Maria M. Rodionova — Graduate Student, Lecturer, Department of Social Institutions Analysis; Trainee Researcher, Politics and Psychology Research Laboratory, HSE University, Moscow, Russia. E-mail: mmrodionova@hse.ru. RSCI AuthorlD: 1174398; ORCID: 0000-0002-2246-379X; ResearcherlD: AAY-7623-2021.

Received: 20.10.2022 **Accepted:** 10.12.2022

Методология исследования: смешанная оптика



DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.2

EDN: CFFCJD

Человеческое измерение безопасности: субъективные оценки и личностные смыслы

Ссылка для цитирования:

Мозговая А. В., Шлыкова Е. В. Человеческое измерение безопасности: субъективные оценки и личностные смыслы // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2022. Т. 14. № 4. С. 29–40. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.2. EDN: CFFCJD

For citation:

Mozgovaya A.V., Shlykova E.V. (2022) The Human Dimension of Security: Subjective Assessments and Personal. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 14. No. 4. P. 29–40. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.2.





Мозговая Алла Викторовна

Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия

E-mail: mozgovai@yandex.ru



Шлыкова Елена Викторовна

Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия

E-mail: shly-ev@yandex.ru

Социальный контекст современности отличается системными трансформациями, постоянными изменениями, фундаментальный признак которых состоит в неопределенности, принципиальной возможности негативных последствий и исходов процессов, событий, явлений, решений.

Субъективное ощущение, личностная оценка риска и собственной уязвимости, а следовательно и степени безопасности, становятся фактором конструирования стратегии взаимодействия с рискогенной средой. Выявление

и выбор адекватных методов измерения факторов, участвующих в субъективной оценке риска и уязвимости, интерпретация смыслов, которые вкладываются респондентами в понимание феномена безопасности, представляют собой интересную научную проблему и значимую для социальной практики задачу.

В статье предпринята попытка продемонстрировать взаимодополняемость социологических данных, получаемых методами количественной и качественной эмпирической социологии как на этапе проектирования и пилотажа инструментария, так и при интерпретации результатов.

Эмпирический раздел статьи демонстрирует перспективность подхода к измерению субъективной оценки безопасности в массовых опросах через показатель достаточности ощущения безопасности и факторов, с ним связанных. Так, выявлена статистически значимая связь ощущения безопасности с полом, возрастом, типом поселения, образованием, с субъектностью, то есть с ответственностью за риск. Тем не менее обозначилась явная недостаточность смыслового компонента для обеспечения надежности интерпретации полученного результата, запрос на дополнительную информацию, для получения которой незаменимо применение методов качественной социологии, работающей в том числе со смыслами.

Результатом применения методов качественной социологии (интервью, фокус-группа) стала следующая типология: при ответе респонденты соотносили свои оценки безопасности преимущественно с наличием/отсутствием угроз как своему физическому состоянию и материально-имущественному положению, так и ближайшего окружения.

Выявлены также позиции сопоставления оценок личной безопасности с нематериальными факторами: с нестабильностью и неопределенностью, которые угрожают социальным и жизненным перспективам как близким, так и друзьям в собственном и ближайшем окружении. В старшей возрастной группе безопасность понимается как наличие сильной власти, которая обеспечивает порядок.

Взаимодополняемость количественных и качественных социологических методов повышает надежность и полноту интерпретации данных массовых опросов относительно изучаемых явлений и процессов.

Ключевые слова: безопасность; методы измерения; ответственность; оценка; риск; субъектность; уязвимость

Введение

Современное общество отличается рискогенностью основных сфер социальной жизнедеятельности, что в свою очередь обусловливает неопределенность и в повседневной жизни людей. Вынужденное взаимодействие с рискогенной средой актуализирует задачу научного обоснования механизмов



обеспечения статуса безопасности, адекватного имеющимся у социальных субъектов и отдельных индивидов ресурсам.

Более того, социальная наука и практика демонстрируют целесообразность подхода к безопасности как социальному институту, востребованному обществом риска.

Различные аспекты безопасности входят в предметные границы многих отраслей научного знания. Анализ основных подходов и тенденций в исследованиях безопасности не предусмотрен в задачах данной статьи, однако представлен в других публикациях авторов [Мозговая, Шлыкова, 2022]. Отметим, однако, что поиск критериев «человеческого измерения безопасности» становится все более актуальным направлением исследований в социальных науках.

Авторы обосновывают научную продуктивность социологической методологии и методов для конструирования социального знания о безопасности человека, о критериях субъективной оценки безопасности в меняющейся среде. Социологическое измерение безопасности имеет перспективу как в массовых опросах, так и в исследованиях, базирующихся на качественной методологии. Данные, полученные в парадигме количественной эмпирической социологии посредством массовых опросов населения по предельно формализованным инструментариям, выявляют тенденции, наиболее общие факторы, связанные с изучаемыми явлениями и процессами. В цели и задачи таких исследований не входит определение субъективных смыслов, которые вкладывают респонденты в понимание явлений и процессов. Подобные личностные интерпретации выявляются соответствующими методами качественной социологии, которая дает возможность понять, по отношению к каким представлениям и картинам мира обнаружена та или иная тенденция, тот или иной общий фактор функционирования или развития процесса, явления. Именно данные качественного исследования позволяют формулировать креативные гипотезы о скрытых, глубинных смыслах, установках, позициях.

В этой статье предпринята попытка продемонстрировать взаимодополняемость социологических данных, получаемых методами количественной и качественной эмпирической социологии в области исследования безопасности как на этапе проектирования и пилотажа инструментария, так и при интерпретации результатов.

Измерение безопасности

Обобщение подходов к исследованию безопасности в массовых социологических исследованиях позволяет утверждать, что наиболее часто измерение соотносится с такими показателями, как потребности [Головаха, Панина, Горбачик, 1998], социальное самочувствие [Латова, 2017; Колесникова, Чуканова, Артюхина, 2015], угрозы безопасности личности [Конышев, 2014; Юдина, Фролова и др., 2017].

Целевые репрезентативные социологические исследования безопасности, как правило, предполагают оценку защищенности населения в рамках отдельного вида или аспекта безопасности либо соотносятся со страхами, тревогами, опасениями 1 .

Наш собственный опыт массовых опросов подтвердил, что, как и в других оценочных процессах, субъективная оценка безопасности складывается на основе жизненного опыта, ценностных ориентаций, мировоззренческих особенностей, уязвимости [Мозговая, Шлыкова, 2016]. Специфическим для оценки безопасности оказался показатель приемлемости различных типов риска.

Такой результат формирует исследовательский интерес к анализу связи между уровнем потребности в безопасности и субъектностью по отношению к решениям, связанным с риском, то есть готовностью принимать ответственность за рискованные решения.

Потребность в безопасности/защищенности — одна из фундаментальных. В самом общем социальном и психологическом понимании потребность интерпретируется как ощущение недостаточности некоторого значимого ресурса. В массовом мониторинговом опросе, данные которого анализируются ниже, апробируется подход, рассматривающий ощущение как показатель субъективной оценки безопасности. Шкала, по которой оценивается степень достаточности ощущения безопасности, является критерием типологизации респондентов. Если потребность невысокая, то и ощущение нехватки, недостаточности будет более выраженным.

Эмпирическую базу анализа составляют данные 27-й волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)². Выборка каждой волны репрезентирует население России³. База сформирована на данных респондентов в возрасте 18 лет и старше, то есть анализ производится по отношению к взрослому населению.

Для оценки субъективного ощущения безопасности в инструментарии мониторинга содержался вопрос: «В какой степени в данный момент Вашей жизни Вам не хватает ощущения безопасности?» В ходе анализа данных мы преобразовали пятибалльную шкалу ответов в трехбалльную. Сумма ответов «хватает» и «скорее хватает» отвечает признаку «высокая субъективная оценка безопасности» (43,4%). Сумма ответов «не хватает» и «скорее не хватает» — признаку «низкая субъективная оценка безопасности» (52,0%). Доли

 $^{^1}$ Индекс страхов // BЦИОМ. 2022 г. URL: https://wciom.ru/news/ratings/indeks_straxov (дата обращения: 09.09.2022).

² Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE), проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра PAH. URL: https://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 09.09.2022) и https://rlms-hse.cpc.unc.edu (дата обращения: 09.09.2022).

³ Модель выборки РМЭЗ НИУ ВШЭ // НИУ ВШЭ. 2022 г. URL: https://www.hse.ru/org/hse/rlms/sample (дата обращения: 09.09.2022).



ответивших «мне это не нужно» соотносились с отсутствием потребности в безопасности (2,1%), а затруднившихся и отказавшихся отвечать мы объединили и интерпретируем как «неопределившихся» (2,5%).

Эти целевые группы имеют как заданные (пол, возраст и пр.), так и приобретенные (образование, брачное состояние, социальный статус и пр.) ресурсы. Интересно сравнить доли обладателей одинаковыми ресурсами в каждой типологической группе.

Сравнительный анализ целевых групп осуществлялся по социально-демографическим характеристикам (пол, возраст, брачное состояние, наличие детей, уровень образования, род занятий, тип поселения). Характер идентификации субъекта ответственности за риск-решения определялся посредством анализа позиций респондентов по ряду вопросов.

Социально-демографические характеристики. В группе с низкой оценкой безопасности выше доля женщин: соотношение мужчин и женщин в этой группе составляет 0,6, тогда как во всех остальных группах — 0,8. Возраст сгруппирован по нескольким интервалам: 18–25, 26–35, 36–45, 46–55, 56–69, 70 лет и старше. Анализ выявил ряд различий. В группах с отсутствием потребности в безопасности и неопределившихся значительно выше доля респондентов в возрасте 70 и более лет: 30,7% и 23% против 13,7% в группе респондентов с высокой оценкой безопасности и 15,1% в группе с низкой оценкой. Соответственно, и молодежи в этих группах значительно меньше. С возрастом потребность в безопасности как бы «угасает».

Анализ данных относительно брачного состояния показал, что существенные различия обнаруживаются также для группы респондентов, утративших потребность в безопасности, — доля вдовствующих в этой группе значительно выше (26% против 13–15% в других группах).

Интересно, что по уровню образования представители целевых групп с высокой и низкой оценкой безопасности практически не различаются. А вот «утратившие» потребность в безопасности и неопределившиеся отличаются от них существенным образом. Так, если в первых двух группах доля респондентов с образованием до восьми классов составляет порядка 13%, то среди двух последних — 43% и 25%. Соответственно, и доля респондентов с высшим образованием существенно ниже.

По роду деятельности больше половины респондентов с отсутствием потребности в безопасности попали в группу пенсионеров. Горожане ниже оценивают уровень своей безопасности.

Субъективная оценка безопасности в значительной степени определяется отношением индивидов к ответственности за риск — субъектностью, степенью готовности принимать решения в ситуациях риска. Респондентам предлагались парные суждения, позволяющие выяснить их позиции относительно субъектов решений, связанных с рисками для окружающей среды и здоровья населения. В таблице приведены данные, показывающие субъектность представителей анализируемых групп.

Ответственность за решения в ситуациях риска респондентов с различной оценкой достаточности ощущения безопасности (доля в процентах от количества респондентов в каждой типологической группе), %

Оценка достаточности ог безопасности				щения
Позиции по отношению к риску	Высокая n = 4197	Низкая n = 5028	Отсутствие потребности n = 203	Неопреде- лившиеся n = 242
Рискуют, надеясь улучшить ситуацию, выиграть	33,5	26,9	19,8	13,4
Риски возникают из-за собственных ре- шений	34,9	30,8	24,8	19,2
Люди сами должны влиять на решения, которые могут нанести вред их здоровью и природе	47,5	40,2	25,7	26,4
В ситуациях риска для других ответст- венность берут на себя	45,3	38,3	23,8	20,9
Власти верно оценивают риски и не должны согласовывать свои решения с населением	27,4	18,6	21,8	9,2

Субъектность, то есть готовность принимать решения, связанные с риском, нести за них ответственность, выше у респондентов с высокой оценкой безопасности.

Между группами с высокой и с низкой оценками безопасности не наблюдается статистически значимых различий в декларируемой стратегии адаптации к навязываемому институциональной средой риску. Снова выделяется группа тех, у кого потребность в безопасности отсутствует, — большая часть из них никаких активных действий осуществлять не станет.

Приведенные данные показывают перспективность подхода к измерению субъективной оценки безопасности в массовых опросах через показатель достаточности ощущения безопасности и факторов, с ним связанных. Так, выявлена статистически значимая связь ощущения безопасности с полом, возрастом, типом поселения, образованием, с субъектностью, то есть с ответственностью за риск. Анализ выявил существенные особенности группы респондентов, у которых отсутствует потребность в безопасности: это люди в возрасте 70 и более лет, с низким уровнем законченного образования, проживающие в сельской местности. Выдвинута гипотеза об «угасании» потребности в безопасности в связи с возрастом, со статусом одинокого неработающего пенсионера, с типом поселения.

Вместе с тем анализ демонстрирует, что при интерпретации ответов респондентов на оценочные вопросы разработчик рискует попасть в ловушку:



за пределами интерпретации остаются (не)понимание типа безопасности и характер смысловой модели, в рамках которой давал ответы респондент. Собственно, это подтверждают наши исходные установки по поводу адекватности методов социологического измерения социальных феноменов задачам исследования. В массовом опросе в соответствии с его задачами был получен определенный результат. Однако на этапе интерпретации очевидным становится факт, что для надежности полученного результата требуется дополнительная информация с применением методов качественной социологии, работающей как раз со смыслами.

Для обоснования вывода о взаимодополняемости количественных и качественных методов социологических исследований в конкретной предметной области изучения личностных, субъективных представлений о риске и безопасности мы с помощью разведывательной стратегии провели 15 экспресс-интервью с представителями тех возрастных групп, которые продемонстрировали различия в оценках по данным массового опроса, и одну фокус-группу с участием семи представителей той возрастной группы, у которой было выявлено снижение потребности в безопасности.

В ходе интервью респондентам зачитывался вопрос из инструментария массового опроса и предлагалась аналогичная шкала. Анализ продемонстрировал, что при ответе респонденты соотносили свои оценки безопасности преимущественно с наличием/отсутствием угроз физическому состоянию и материально-имущественному положению — как личному, так и ближайшего окружения. Например:

«Да, хватает ощущения безопасности: денег хватает, еда есть, жилище есть, здоровье нормальное, у дочери все в порядке. На улице никто не пристает и лопатой не бьет» (муж., 58 лет).

«Да, хватает. Еда есть, дом и квартира обихожены, дочери на хорошее образование деньги есть, маме и брату помочь — тоже, здоровье под контролем» (муж., 50 лет).

«Мне оно и не нужно. Власти работают, уровень жизни не падает» (жен., 71 год).

«Скорее хватает. 1. Есть финансовая подушка безопасности — накопления, дающие уверенность в том, что в случае жизненных форс-мажорных обстоятельств смогу помочь себе и семье. 2. Хорошее образование, опыт и наработанные профессиональные навыки дают конкурентные преимущества и востребованность на рынке труда и открывают перспективы для самореализации. 3. Возраст как преимущество: здоровье, трудоспособность, обучаемость, отсутствие страха перемен» (жен., 26 лет).

Выявлены позиции сопоставления оценок личной безопасности с нематериальными факторами: с нестабильностью и неопределенностью, которые

угрожают социальным и жизненным перспективам близких и друзей, как в собственном, так и в ближайшем окружении. Например:

«Скорее не хватает. Общий тревожный настрой, неуверенность в завтрашнем дне, не то чтобы полное отсутствие перспектив, скорее не вижу способов реализации своих планов» (муж., 46 лет).

«Скорее хватает. Социальная группа, в которой я нахожусь, совпадает со мной по ценностям и нормам поведения. В ней я чувствую себя в безопасности, есть родные, которым я могу полностью доверять и в случае необходимости попросить о помощи» (жен., 26 лет).

«Какая безопасность! У детей на работе не ладится, у внуков денег на образование нет» (жен., 63 года).

«Скорее не хватает. Это связано с недоверием к доступной информации о происходящих событиях. Трудно в современных условиях принимать важные жизненные решения и планировать жизнь, опираясь на противоречивую информацию» (жен., 52 года).

«Скорее не хватает. Очень часто возникает необходимость в жизни что-то менять, отказываться от привычного, причем не в лучшую сторону» (жен., 47 лет).

В фокус-группе участвовали в основном неработающие пенсионеры, которые в массовом опросе попадали в группу со сниженной потребностью в безопасности. Им также было предложено ответить на конкретный вопрос. В данной возрастной группе мы получили приращение в понимании безопасности как наличия сильной власти, которая обеспечивает порядок.

«И не надо, и хватает. Верю в свою страну и президента» (жен., 74 года).

«Мне хватает. Страна сильная, кругом охрана, армия сильная» (муж., 75 лет).

«Я привыкла верить людям. Все зависит от людей. Задано направление, каждый выполняет свою работу, вот и безопасность» (жен., 71 год).

Участникам дискуссии был предъявлен перечень типов безопасности человека, разработанный авторами концепции безопасности человека "Human security", представленной в Докладе Программы развития ООН (ПРООН) 1994 года [Отчет по человеческому развитию, 1994]. Они описывали следующие основные типы безопасности: экономическая (гарантированный минимальный доход), продовольственная (физическая и экономическая доступность продуктов питания), безопасность для здоровья (относительная свобода от заболеваний и заражений, доступность квалифицированной медицинской



помощи), экологическая (доступность чистой воды, воздуха, плодородной почвы), личная (свобода от физического насилия и угроз жизни), политическая (защита основных прав и свобод личности и возможности для их отстаивания).

Обсуждение показало, что если бы участникам дискуссии предлагалось оценивать ощущение безопасности каждого типа, то оценки были бы более вариативными и критерии соотнесения оценок с уровнем уязвимости, возможно, выбирались бы другие. Такой результат подсказывает, что на этапе разработки инструментария массового опроса необходимы данные качественного анализа, чтобы не потерялись важные смыслы в формулировках вопросов структурированного анкетного интервью.

Заключение

Направленность социально-экономических и политических изменений, особенно на нынешнем этапе исторического процесса, свидетельствует о росте степени рискогенности различных сред от социетального уровня до повседневной жизни людей.

Цель адаптации к росту неопределенности и рисков состоит в конструировании статуса безопасности через поиск баланса между степенью уязвимости и ресурсами, которые имеются у субъекта социальной деятельности в конкретный момент по отношению к определенному риску. На индивидуальном уровне процесс адаптации, как и любое иное социальное взаимодействие, начинается с субъективного восприятия и оценивания.

Достоверную информацию о смысловом содержании, факторах, детерминирующих те или иные оценки, в системе социологических координат возможно получить только через качественно-количественный подход. Вза-имодополняемость методов количественного и качественного социологического анализа обеспечивает полноту социальной информации, необходимой для принятия адекватных решений.

Как показывают результаты исследований, в том числе и описанного в данной статье, почти половина взрослого населения страны считает, что люди должны иметь возможность влиять на решения, которые могут нанести вред здоровью и природной среде. Более того, они готовы и ответственность за риск разделить с властными структурами. Необходимо встречное движение, запрос к научному сообществу на изучение качественно-количественной специфики факторов, влияющих на субъективную оценку безопасности. Пока такое встречное движение имеет место только в тех локациях, где риски практически переросли в кризис.

Литература

Головаха Е. И., Панина Н. В., Горбачик А. П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология: 4М). 1998. № 10. С. 45–71.

Колесникова О. Н., Чуканова Т. В., Артюхина В. А. Социальное самочувствие и безопасность населения региона: некоторые результаты мониторингового исследования // Вестник Алтайской науки. 2015. № 1. С. 114–118. EDN: UAOJUL

Конышев В.Н. Безопасность личности — новый поворот в понимании политики безопасности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. Т. 10. № 40. С. 43–56. EDN: SUFMCR Латова Н.В. Удовлетворенность жизнью: динамика и факторы // Российское общество и вызовы времени / Под ред. М. К. Горшкова, В. В. Петухова. М.: Весь Мир, 2017. С. 76–97.

Мозговая А.В., Шлыкова Е.В. Неравенство в распределении рисков: ресурсы и стратегии адаптации // Россия реформирующаяся. М.: Новый хронограф, 2016. Вып. 14. С. 358–378. EDN: WBLZOB

Мозговая А.В., Шлыкова Е.В. Значимость субъективных оценок безопасности в оптимизации процессов адаптации к рискогенной среде // Россия реформирующаяся. М.: Новый хронограф, 2022. Вып. 20. С. 291–315. DOI: https://doi.org/10.19181/ezheg.2022.11 EDN: GJUUWB Отчет по человеческому развитию. Оксфорд: Оксфорд Юниверсити Пресс, 1994.

Юдина Т.Н., Фролова Е.В., Танатова Д.К., Долгорукова И.В., Родимушкина О.В. Безопасность личности и виктимные опасения // Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Т. 20. № 1. С. 114–127. EDN: YOCMRZ

Сведения об авторах:

Мозговая Алла Викторовна — доктор социологических наук, главный научный сотрудник, руководитель сектора проблем риска и катастроф, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия. Email: mozgovai@yandex.ru. РИНЦ AuthorID: 71630; ORCID ID: 0000-0001-6810-5931; ResearcherID: ABD-3432-2020.

Шлыкова Елена Викторовна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия. **Email:** shly-ev@yandex.ru. **РИНЦ AuthorID:** 76563; **ORCID ID:** 0000-0002-2875-271X; **ResearcherID:** I-5128-2016.

Статья поступила в редакцию: 16.09.2022 Принята к публикации: 10.12.2022

The Human Dimension of Security: Subjective Assessments and Personal

DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.2

Alla V. Mozgovaya Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia

Email: mozgovai@yandex.ru

Elena V. Shlykova Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia

Email: shly-ev@yandex.ru

The social context of modernity is characterized by systemic transformations, constant changes, the fundamental feature of which is uncertainty, the fundamental possibility of negative consequences and outcomes of processes, events, phenomena, decisions.



Subjective feeling, personal assessment of risk and one's own vulnerability, and, consequently, the degree of security become a factor in designing a strategy for interacting with a risky environment. The identification and selection of adequate methods for measuring factors that are involved in the subjective assessment of risk and vulnerability, the interpretation of the meanings that respondents put into understanding the phenomenon of security, are an interesting scientific problem and a significant task for social practice.

The article attempts to demonstrate the complementarity of sociological data obtained by methods of quantitative and qualitative empirical sociology, both at the stage of designing and piloting tools, and when interpreting the results. The discourse is carried out in relation to the currently relevant problem of human security.

The empirical section of the article demonstrates the perspective of the approach to measuring the subjective assessment of security in mass surveys through the indicator of sufficiency of the sense of security and the factors associated with it. Thus, a statistically significant relationship of the feeling of security with gender, age, type of settlement, education, with subjectivity, that is, with responsibility for risk, was revealed Nevertheless, there was a clear insufficiency of the semantic component to ensure the reliability of the interpretation of the result obtained, a request for additional information, for which the use of methods of qualitative sociology, working just with the semantic level of consciousness, is indispensable.

The result of applying the methods of qualitative sociology (interview, focus discussion) the following typology became established: when responding, respondents correlated their safety assessments mainly with the presence/absence of threats to the physiological state and material and property status of the personal and immediate environment.

The positions of comparing personal security assessments with non-material factors are also revealed: with the presence of relatives and friends, with instability and uncertainty that threaten the social and life prospects of one's own and the immediate environment. In the older age group, security is understood as having a strong authority that ensures order.

The complementarity of quantitative and qualitative sociological methods increases the reliability and completeness of the interpretation of mass survey data regarding the phenomena and processes under study.

Keywords: safety; methods of measurement; responsibility; assessment; risk; subjectivity; vulnerability

References

Golovakha E. I., Panina N. V., Gorbachik A. P. (1998) Izmerenie social'nogo samochuvstviya: test IISS. [Measuring Social Well-being: the IISS Test]. *Sociologiya: metodologiya, metody`, matematicheskoe modelirovanie (Sociologiya: 4M)* [Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling (Sociology: 4M)]. No. 10. P. 45–71. (In Russ.)

Kolesnikova O.N., Chukanova T.V., Artyukhina V.A. (2015) Social'noe samochuvstvie i bezopasnost' naseleniya regiona: nekotorye rezul'taty monitoringovogo issledovaniya [Social Well-being and Security of the Region's Population: Some Results of the Monitoring Study]. *Vestnik Altaiskoi nauki* [Bulletin of Altai Science]. No. 1. P. 114–118. (In Russ.) EDN: UAOJUL

Konyshev V. N. (2014) Bezopasnost' lichnosti — novyj povorot v ponimanii politiki bezopasnosti [Personal Security — a New Turn in the Understanding of Security Policy]. *Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'* [National Interests: Priorities and Security]. Vol. 10. No. 40. P. 43–56. (In Russ.) EDN: SUFMCR

Latova N.V. (2017) Udovletvorennost' zhizn'yu: dinamika i faktory [Satisfaction with Life: Dynamics and Factors]. In: M.K. Gorshkov, V.V. Petukhov (eds) *Rossijskoe obshhestvo i vyzovy vremeni* [Russian Society and Challenges of The Time]. Moscow: Ves' Mir. P. 76–97. (In Russ.)

Mozgovaya A.V., Shlykova E.V. (2016) Neravenstvo v raspredelenii riskov: resursy i strategii adaptacii [Disparity in the Social Distribution of Risks: Resources and Adaptation Strategies]. In: M.K. Gorshkov (ed.) *Rossiya reformiruyushhayasya* [Russia Reforming]. Vol. 14. P. 358–378. (In Russ.) EDN: WBLZOB

Mozgovaya A.V., Shlykova E.V. (2022) Znachimost` sub`ektivny`kh ocenok bezopasnosti v optimizacii processov adaptacii k riskogennoj srede [Safety Subjective Estimations Significance to the Optimization Trends Substantiating for People to Adapt to Risk Environment]. In: M.K. Gorshkov (ed.) *Rossiya reformiruyushhayasya* [Russia Reforming]. No. 20. P. 291–315. DOI: https://doi.org/10.19181/ezheg.2022.11 EDN: GJUUWB (In Russ.)

Otchet po chelovecheskomu razvitiyu [Human Development Report] (1994). Oxford: University Press (In Russ.)

Yudina T.N., Frolova E.V., Tanatova D.K., Dolgorukova I.V., Rodimushkina O.V. (2017) Bezopasnost' lichnosti i viktimnye opaseniya [Human Security and Fear of Victimization]. *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 20. No. 1. P. 114–127. (In Russ.) EDN: YOCMRZ

Authors bio:

Alla V. Mozgovaya— Doctor of Sociology, Main Researcher, Head of the Department, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia. **Email:** mozgovai@yandex.ru. **RSCI AuthorID:** 71630; **ORCID ID:** 0000-0001-6810-5931; **ResearcherID:** ABD-3432-2020.

Elena V. Shlykova— Candidate of Sociology, Leading Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia. **Email:** shly-ev@yandex.ru. **RSCI AuthorID:** 76563; **ORCID ID:** 0000-0002-2875-271X; **ResearcherID:** I-5128-2016.

Received: 16.09.2022 **Accepted:** 10.12.2022

Полевые исследования



DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.3

EDN: ACDNHI

«У казака вся жизнь — война, в казачьем сердце страха нет!», или как сегодня становятся казаками¹

Ссылка для цитирования:

Пузанков И.А. «У казака вся жизнь — война, в казачьем сердце страха нет!», или как сегодня становятся казаками // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2022. Т. 14. № 4. С. 41–61. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.3. EDN: ACDNHI

For citation:

Puzankov I.A. (2022) "A Cossack's Whole Life is War, there is no Fear in a Cossack's Heart!" or How They Become Cossacks Today. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 14. No. 4. P. 41–61. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.3.





Пузанков Илья Андреевич

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-mail: iapuzankov@hse.ru

Статья посвящена анализу современного казачества (на примере кубанского), в частности его коллективной идентичности сквозь призму комплекса теоретических подходов: теории маскулинности (в измерениях гегемонности и милитаризованности). Эмпирически коллективная идентичность казачества реконструируется через нарративы представителей Кубанского казачьего войска. В статье предлагается категоризационный контур современной коллективной идентичности казачества. Центральным элементом социальной идентичности современного казачества остается исторический паттерн милитаризованной маскулинности, который значимо насыщен аффективными переживаниями информантов в процессе вербализации определенных смысловых категорий. Наличие такого переживания в опыте и нарративе

¹ Исследование реализовано при поддержке факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

В статье использовались материалы ВКР автора «Роль аффективной солидарности в конструировании милитаризованой маскулинной идентичности (на примере Кубанского Казачества), 2022. URL: https://www.hse.ru/ma/csa/students/diplomas/623260291 (дата обращения: 09.08.2022).

обеспечивает интериоризацию казаками специфических оснований коллективной идентичности.

Ключевые слова: кубанское казачество; милитаризованная маскулинность; аффект; идентичность; нарративная идентичность

Введение

Казачество как социальный феномен формируется еще со средних веков, его основой выступали, с одной точки зрения, вооруженные группировки беглых крестьян, которые были движимы идеей «вольности» («социум-убежище¹»), а с другой, казаки рассматривались в качестве специфичного этноса, сформированного под действием исторического миграционного движения народов и сплава различных (нет единого мнения) этнических основ (здесь и далее в эссенциалистском смысле слова). Формально институциональный период казачества начинается с XVII века, когда оно выкристаллизовывается в некое военизированное (служилое) сословие и в такой форме начинает свою длительную историю взаимоотношений с государством вплоть до начала XX века, когда ввиду крупных политических, социальных и др. трансформаций казачество перестает существовать в сложившейся форме. Однако, несмотря на репрессии и процесс расказачивания в связи с активным участием казачества в движении сопротивления советской власти, оно не полностью исчезает с социальной карты страны (как, например, дворянство). Это частично обусловлено тем, что казачество обладало достаточно специфическим положением — будучи герметичной группой «служилого» назначения, обладая значимой долей свободы, казачество имело крестьянский характер бытования и не являлось в полной мере идеологическим противником нового строя. При этом все же общие социальные изменения существенно деформируют и практически уничтожают (как форму социальных отношений, как организацию) казачество в его прежнем виде.

Проживая 70-летний период «новой жизни», казачество как социальный феномен ассимилируется, перестает быть герметичной, самовоспроизводящейся группой. Распадается система быта и деформируется этос, сама категория «казачество» постепенно становится историей, культурой (в узком понимании) а не «обобществляющим институтом», закрепляющим субъектность казака. Однако на фоне кризиса советской системы (1989–1990 годы), когда становится необходимым поиск новых идентификационных «основ», академический кружок в Кубанском государственном университете, посвященный истории казачества, стал условным идейным центром формирования возрождавшегося Кубанского казачьего движения, крупнейшего в России. На фоне кризиса советской идентичности, в поисках нового замещающего основания достаточное количество людей увидело для себя возможность

¹ «Убежище на основе принципов мужского союза и самоуправляемой общины без первобытности» [Васильев, 2019: 10].



самокатегоризации в рамках нового казачества как социальной группы. Таким образом появилась «новая» «ингруппа», которая предоставила возможность устранения социальной неопределенности. Но какой должна стать новая, исторически преемственная коллективная казачья идентичность? В поисках ответа на этот вопрос мы обращаемся к транстемпоральной, пронизывающей всю бытность казачества, характеристике ее служилости и милитаризованности, неразрывно слитой в единый конструкт милитаризованной маскулинности.

К концептуальной основе исследования

Отметим некоторые теоретические основания исследования. В понимании социальной идентичности мы в первую очередь опираемся на работы Г. Тэджфела, Д. Тернера и других. Социальная идентичность не может быть понята как некое монолитное состояние, она неизбежно должна быть дифференцирована на уровни. Г. Тэджфел предлагает двухуровневую модель — когнитивное и ценностно-эмоциональное содержание [Tajfel, 1972]. Последнее связано с определенным чувством принадлежности, а также некоторой «оценкой позитивности членства в группе, которая во многом зависит от мнения общества относительно группы» [Горбатенко, Сидоренков, 2008: 113]. В контексте нашей работы следы аффективного переживания определенных категорий как чего-то «своего», некой слитости проговариваемого с собственными диспозициями представляется ключевым интересом, который, в отличие от когнитивного, имеющего богатую традицию и опыт изучения, практически не попадал в фокус исследования. Также важно отметить связь социального и индивидуального измерения идентичности. Г. Тэджфел полагает, что «социальная идентичность является частью индивидуальной Я-концепции, которая произрастает из собственного знания о своем членстве в группе (или группах) вместе с оценкой и эмоциональным проявлением этого членства» [Горбатенко, Сидоренков, 2008: 113]. Также ряд исследователей [Reid, Deaux, 1996] отмечает наличие плотной связи между этими двумя уровнями идентичности и их показателями. Уместно сказать и о феноменологической природе идентичности. Д. Роач и Д. Биллмен указывают на то, что континуум имеющихся категоризаций (некоторые исследователи определяют их термином «прототипы» [Roach, Billman, 1993]) представляет собой некоторые обобщения, то есть по сути не индивидуальные уникальные характеристики, а «многочисленные представления», позволяющие рассматривать ситуацию как типичную. Такой подход кажется принципиально важным в понимании идентификации актором себя с конкретной группой как на когнитивном (рефлексивном) уровне, так и на уровне переживания солидарного чувства, которое зачастую не рефлексируется индивидом. Конечно, логичным продолжением данного рассуждения является понятие коллективной идентичности, как раз и возникающей из солидаризации, в этом смысле ее продуктом становится социальная идентичность группы. Упомянутые положения дают возможность поиска коллективных категоризаций (самокатегоризаций по Д. Тернеру) внутри индивидуальных нарративов.

Кроме того, в отношении казачества как маскулинного в своей массе феномена важно привлечь теории маскулинности, и в первую очередь сопряженную с милитаризованностью гегемонную маскулинность, описанную еще Р. Коннелл [Connell, 2005]. Актуальность такой аналитической линзы сложно переоценить в контексте изучения милитаризованного сообщества, которое априори воспроизводит такой образец (при наличии власти, права на насилие, доминирования, иерархии и т. п.). Применительно к исследованиям маскулинности «Понятие гегемонии <...> отражает суть мужского превосходства и выражается в сочетании авторитета и маскулинности, что, в свою очередь, предполагает не только практику взаимоотношений между полами, но и внутри полов (например, между мужчинами)» [Берберова, 2013: 30]. Эти понятия описывают иерархическую структуру маскулинности, в которой гегемонная форма занимает, в терминах П. Бурдье, доминирующее положение над другими типами маскулинности (ряд исследований дает разные определения, мы воспользуемся термином «субординированный») [Bourdieu, 1997]. С другой стороны, «непререкаемый высокий престиж определенных паттернов мужественности закрепляется в идеологии (в том числе в религиозных доктринах), практиках социализации, культурных репрезентациях, на уровне субъективной идентичности» [Здравомыслова, Темкина, 2018: 55]. Это представляется особо важным в контексте рассмотрения такой группы, как казачество, фокус идентичности которой обращен на воспроизводство культурно-идеологического базиса. В связи с этим «апелляция к военному прошлому, создание "мест памяти", как правило, становится фактором поддержания гендерного порядка, укрепляя традиционные гендерные стереотипы мужчины как воина и защитника», как главнейший механизм конструирования гегемонной маскулинной идентичности [Рябова, Рябов, 201: 68]. Также логичным дополнением к мысли о воспроизводстве гегемонного образца маскулинности следует считать ее публичность [Connell, 2005], социально сформированную телесность [Хитрук, 2017], которая идеализируется в специфически культурных мужских образах. Конечно, говоря о казачестве в настоящее время, стоит учесть расхождения таких образов и реальности (реставрация прежних образцов маскулинности не всегда возможна ввиду кардинальных и необратимых трансформаций в области экономики, труда, социального устройства и, наконец, военной сфере), что, однако, не мешает гегемонной маскулинности оставаться нормативным каноном.

Результирующим пунктом концептуальной основы выступает используемое нами понимание солидарности, которое в своей процессуальности «работает» на (вос)производство, закрепление и актуализацию коллективной идентичности. Понятие солидарности имеет давнюю историю в рамках социальных наук, отмечается его высокая концептуальная вариабельность и отсутствие единого понимания, «начиная от чувства или нормы до формы



отношения или практики» [Moghaddari, 2021: 236; Karakayali, 2017; Kymlicka, 2015; Bens, 2019]. Обращая внимание на аффективную составляющую процесса социализации в группе казачества, в этом ряду мы выделим точку зрения С. Могаддари, которая обосновывает аффективное понимание солидарности [Moghaddari, 2021: 237]. Конечно, здесь используется понимание аффекта, возникшее в последние десятилетия в социологической науке (ее аффективный поворот), а именно как некой интенсивности разворачивающихся переживаний, которая играет важнейшую роль в мобилизации акторов. С. Могаддари пишет, что явление солидарности может быть представлено как «прежде всего отношение, с помощью которого люди объясняют свое участие в определенных формах аффективного и эмоционального обмена» [Moghaddari, 2021: 237]. Здесь важным теоретическим инструментом, концептуализирующим аффективную солидарность, является аффективный резонанс или то, что называют аффективной сонастройкой. Понятие резонанса можно определить как некое коллективное переживание, приводящее не к растворению индивидуальности, а лишь к захвату ее в общем потоке аффекта. Важно, что «любые отношения — личные и/или политические — должны быть аффективными, чтобы быть эффективными» [Mazzarella, 2009: 299]. Здесь имеется в виду то состояние, которое можно описать такими категориями, как «это касается меня», «я часть этого», и т. п. Аффективный резонанс является ступенькой и условием для солидаризации: участвующие акторы начинают образовывать некое социальное целое через пронизывающую его интенсивность аффекта. Также важно для дальнейшего анализа и понимания аффективной солидарности на эмпирическом уровне привлечь выделяемые Могаддари два типа резонанса — зеркальный резонанс, связанный с разделением одного и того же феноменологического опыта, и сопутствующий, когда эмоциональная встреча отражена в ситуации, которую разделяют не все вовлеченные индивиды. «Зеркальный резонанс относится к циркуляции одного и того же или очень подобного, эмоциональные регистры создаются в результате совместного социального опыта. Сопутствующий резонанс вместо этого определяет обмен, в котором агенты, не в равной степени вовлеченные в ситуацию, вызывающую аффект, передают эмоции или аффекты, не одинаковые, но совместимые, поскольку они параллельны, усиливают или содержат друг друга» [Moghaddari, 2021: 245]. При этом автор отмечает, что независимо от типа резонанса его наличие может мобилизовывать агентов, не сводя к одному качеству, но приводя к солидаризации. Этот подход имеет под собой в том числе и эмпирические индикаторы, заключающиеся в переживаемых и выражаемых категориях, эмоциональных (не)синхронностях, языке тела, — все это может быть классифицировано для конкретного сообщества (в нашем случае для казачества), может быть выявлен сам регистр данной солидарности, ее базовые аффективные компоненты (в качестве эмпирической методологии Могаддари использовала этнографическое наблюдение и различного типа интервью).

Завершая наше теоретико-методологическое контурирование, резюмируем, что в данном исследовании мы осуществляем реконструкцию

идентичности казачества на пересечении теоретических подходов маскулинности и аффективного поворота, то есть, во-первых, привлекая концепт гегемонной маскулинности, мы изучаем казачью идентичность в современности, а во-вторых — фокусируемся на аффектах, прослеживаемых в нарративах информантов и участвующих в практиках солидаризации в направлении формирования коллективной идентичности.

Милитаризованная маскулинная идентичность в нарративах казаков

В исследовании мы использовали качественный метод интервьюирования. Беседа начиналась с биографического интервью, продолжалась нарративным и уже затем переходила к полуструктурированному интервью. Такие методические «качели» были обусловлены выявлением и постепенным сужением необходимых для нашего предмета тематик категорий, проговариваемых информантами. Сам характер интервью также серьезно варьировался. Здесь представлены: классическая неторопливая беседа (биографическое интервью), разговор в машине после мероприятия, интервью на кухне у информанта, на лавочке, у дома, а также отрывочные записи разговоров с казаками в процессе совместной деятельности — в отдельных случаях доступ к полю проходил через физическую помощь в повседневных делах казачьих обществ. Этим фактором обусловлена и различная длительность интервью — от 2,5 часов до десятков минут. Такое положение дел обусловлено существенной закрытостью и недоверием казаков к стороннему человеку. Похоже, возможность получения информации в относительно неформальном и откровенном режиме обусловлена наличием социального капитала в данном поле. Можем предположить, что человеку, не связанному с данным сообществом, было бы крайне проблематично получить доступ к полю. Всего нам удалось пообщаться с десятью представителями казачества, от 18-летнего рядового казака, вступившего в общество менее года назад, до экс-атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала. Также надо отметить, что получаемая информация в своей основе начала повторяться примерно после пятого интервью, что говорит о сатурации выборки. Наше поле составляли представители Кубанского казачества, являющиеся членами казачьих обществ, выборка была построена через типичных представителей и способом «снежного кома». Основными темами гайда, которые раскрывались в интервью, были запросы на общее понимание, что такое казачество, кто такой казак в истории и сейчас, какими качествами обладает казак, как переживается «казачество» конкретным индивидом, с какими переживаниями это сопряжено, в какие моменты это чувствование актуализируется, что такое коллективные мероприятия казачества, их роль, важность в жизни казачества в целом и конкретного казака в частности, и другие, часто ситуативно возникающие темы.



Идентичностный нарратив казака

Переходя к содержательному анализу полученного материала, мы выстроим нашу линию рассмотрения следующим образом: основываясь на материалах интервью, мы реконструируем различные аспекты обнаруживающейся в нарративе идентичности (которая, в соответствии с концептом нарративной идентичности М. Coмерс [Somers, 1994], отражается в специфических текстуальных конструктах рассказа).

Касательно гегемонного характера маскулинности казачества можно сказать, что он, безусловно, присутствует. Сообщество представляется практически полностью гомосоциальным, часто единственные упоминания каких-либо женских фигур ярко демонстрируют их (казаков) гегемонную позицию в гендерном порядке:

«Женщина только в быту, а в быту — она только мать» (казак городского отдела ККВ, далее информант № 3).

«Это сейчас жена может что-то сказать там казаку, да там, если там, что-то, где-то, как-то, там, ссора какая-то будет, а раньше она даже слово молвить не могла» (казак хуторского казачьего общества ККВ, далее информант № 7).

Это касается и гетеронормативности. Субординированная гомосексуальная маскулинность представляется не только невозможной, а опасной и требующей устранения, где казачество рассматривается как то, что способно и должно быть в авангарде борьбы:

«...Можно гордиться, что такая есть сила, положительная, православная, верующая с Богом, об которую может кое-что и разбиться! А разбиться что может? Гомосексуализм пошел — это самое страшное. Казачество самая страшная сила для них, казаков они боятся, как огня!..» (информант № 3).

То, что присутствует практически в каждом интервью, — это вплетение религиозного аргумента как фактора, легитимизирующего гендерный порядок. В тесной связи с гегемонным паттерном маскулинности также вырисовывается категория «силы», которая всплывает как тема практически во всех интервью и которая также обосновывается с позиции религии. Практически каждый информант касается православия как одной из основ казачьей идентичности. Здесь мы видим слияние таких идентичностных параметров, как гегемонный гендерный порядок, православие и некий не вполне отрефлексированный, но явно обладающий аффективной насыщенностью конструкт «силы»:

«Мы — сила! Какая? Православная! Верующие все, если ты не православный, ты казаком быть не можешь» (информант № 3).

Субординация происходит на основе религиозной и этнической принадлежности. Ниже приведены слова экс-атамана одного из кубанских городков по поводу актуальной проблемы этнической напряженности между русским населением и различными неславянскими этносами (турки-месхетинцы, армяне, дагестанцы и др.), широко распространенными в Краснодарском крае:

«Они [чернота, по словам информанта] когда чувствуют силу [казачества], становятся тише» (офицер городского отдела ККВ, далее информант № 9).

«Казак, че, он самогона поддал, шашку взял — ге ге! Кто здесь сильнее? E6**ь, на*й!» (казак, брат походного атамана хуторского казачьего общества ККВ, далее информант № 6).

Последняя цитата дополняет картину самокатегоризации казачества через отсылку к стереотипному историческому прошлому и проведение параллели с современностью: говоря о казачьих корнях, информант через специфический образ какой-то бесшабашности и лихости в мирный период (но с милитари артефактами — оружием) рисует его общий исторический портрет, объясняя этим и особое расположение казачества в географическом пространстве (охрана и удержание границ). Несмотря на то, что здесь нет прямого параллелизма с современностью, это законсервированное прошлое имплицитно (по голосу, жестам и мимике) ощущается, как некий «прототип» [Roach, Billman, 1993]. Или выступает как одна из черт идентичности, через которую индивид самокатегоризирует себя как члена данной общности. На наш взгляд, в этих цитатах сам респондент конструирует преемственную черту данного прототипа. Также надо отметить его яркую аффективную выразительность, которой насыщена сама реплика. Чтобы описать это представляемое социальное действие, информант использует в описании звуковое, не наделенное прямым значением сопровождение (ге ге), которое практически невозможно передать иначе и которое понимается не когнитивно, а скорее как контур некоего набора ситуаций, где этот звук мог бы возникать как естественный. Сложность категоризации аффекта, в отличие от эмоции, несущей след социального означивания, возникает и здесь: мы видим очевидный «всплеск» аффективного состояния, которое лишь отсылает нас к категориям силы, какой-то «бесшабашности» и милитаризованности — что очевидно, так как участником аффективного ассамбляжа является оружие как нечто перманентно присутствующее в кадре. Очевидная ориентация современной казачьей идентичности на прошлое подтверждается как теоретически («Социальная идентичность обнаруживается в исторической ретроспективе того, что группа претерпела, то есть в ходе исторических событий» [Горбатенко, Сидоренков, 2008: 112]), так и нашим эмпирическим материалом, в котором информанты постоянно ссылаются на прошлое:



Интервьюер: Что для вас значит стать казаком, даже в эмоциональном плане, с какими чувствами это сопряжено?

Информант: Во-первых, ты должен знать немножко истории, чем они занимались... прежде чем стать казаком, кто это такие, вот самураи, да, этот... ки... японский, кто это казак, да. Во-вторых, это как бы богатырь, вот, допустим... «Руслан и Людмила» читал? Там богатыри на Руси были, Илья Муромец, там, Добрыня Никитич... вот казаки приравниваются к этим национальным героям. Потому что они с детства военные растут, они на коня в год садятся, шашкой владеют в три года, в пять, в семь, и он уже в 12 лет выходит в бой с турками» (информант № 3).

«Назначение казачества и казака сейчас — воспитание молодого поколения в тех традициях, когда любили Русь, вот, и за Русь шли и воевали, когда надо было, ну, то есть не захватом занимались... а когда, если... ну, если враг полезет, вот тут уже, блин, п**да. Ну а так тихо спокойно живешь, занимаешься хозяйством... Ну, и вера, православные мы» (казак хуторского казачьего общества ККВ, далее информант № 4).

В приведенных фрагментах предъявлен целый ряд идентификационных оснований, свойственных как казакам современности, так и условному казаку из исторического прошлого. Это, конечно, самоотнесение с героическим типом маскулинности, как безусловно престижным паттерном [Здравомыслова, Темкина, 2018], как следствие, эта самокатегоризация приводит к паттернам милитаризованности, воина. Причем эта милитари установка нормализуется через дискурс необходимой защиты.

«Казак — это защитник <...> защитник, да, это подойдет слово» (информант № 3).

«В первую очередь да, защитник от своего» (походный атаман хуторского казачьего общества ККВ, далее информант № 10).

Отметим, что здесь собирается набор милитаризованных практик и артефактов, который создает необходимые диспозиции казака как воина уже с раннего детства, с некоторой долей мифологического преувеличения (младенец с года): владение шашкой, навык верховой езды. При этом современное воспитание казачьей молодежи в казачьих объединениях, кадетских корпусах и в молодежных сотнях также проходит через этапы научения данным практикам, через телесную социализацию и сопровождающие этот процесс аффекты. Здесь снова обнаруживает себя сложность подбора категорий для описания аффектации, в самой общей форме это можно охарактеризовать через категории «лихости», «ловкости», «силы», «рисовки», которые являются показателями престижа и одновременно тем самым путем «от мальчика к мужчине», то есть инициационными практиками. Также в данных фрагментах

прослеживается особая категория «парадокса сдержанности» [Tapscott, 2020]: одновременно с образами мужественности и необходимой воинственности проступает образ «хороших отцов», обязанность которых — правильно воспитать сыновей:

«Я и своих детей воспитываю в казачьих традициях. У меня... старший сын на военно-полевые сборы со мной ездит. Первый раз он там отметил шесть лет, на военно-полевых сборах. Он с удовольствием каждый раз ездит, ему интересно все, ему интересны занятия, которые проводятся там... и мне интересно то, что он именно развивается по военной тематике, потому что я казака все-таки, ну, воспринимаю как воина, не как... ммм... офисного клерка, так скажем... и поэтому считаю, что детвора наша должна в этом плане... в этом направлении воспитываться. И сыновей своих я только отправлю в казачий кадетский корпус, который, я знаю, даст направление, дисциплину...» (информант № 10).

Таким образом, критерий «хорошего отца» — это воспитание подрастающего поколения в традициях казачества, в то же время доминирующая идея традиций казачества проходит через его понимание как военизированного сообщества. С определенной четкостью очерчивается граница паттернов казачества — это не «офисный клерк», это определенный паттерн маскулинности, сопряженный с категориями силы, милитаризованности, мужественности и т. п., который ставится во главу гендерного порядка в сообществе. Надо отметить, что мы сами испытали определенные переживания (аффективную интенсивность) в результате коммуникации с группой сельских казаков. В общении необходимо было показать какую-либо сонастройку с аффективным полем этой группы. В результате мы сознательно пытались построить доверие и разрешить это ощущаемое напряжение и недоверие через техники тела, голос, использование специфического сленга и отсылки к социальному бэкграунду, связанному с казачеством, — если кратко, было необходимо продемонстрировать уместный маскулинный паттерн.

Возвращаясь к вышеупомянутой цитате, отметим, что уже здесь всплывает необходимое условие коллективности для освоения установок к воинственности, а также очерчивается одно из пространств, работающее на становление милитаризованности и маскулинности в идентичности казака. Различение понятий маскулинности и милитаризованности обнаруживается здесь лишь отчасти, в определенных случаях понятие настоящего мужчины, равное здесь понятию настоящего казака, становится гомологичным понятию настоящего воина, нормализованного через категорию «защитника». Но это не единственный гендерный режим настоящего казака, но все же доминирующий (эти категории встречаются практически у всех информантов как доминирующие). В этом смысле мы не заметили какой-либо динамики маскулинностей в казачьем сообществе. Отмеченная нами выше утрата милитаризованно-маскулинной



культуры казачества, спаянной через мифо-идеологическую систему, пересматривается в сторону ее реставрации и начинает свое новое существование с тех же основ.

Продолжая мысль о важности определенного набора артефактов в формировании идентичности казачества, отметим некоторые элементы ассамбляжа, играющие важную роль в ответе на базовый вопрос идентичности — кто мы?

«Форму, когда ты одел, вот тогда начинает в тебе просыпаться внутри, что... вот раньше в России каждый человек отличался по форме... выхожу без формы — как голый!» (информант № 3).

«Я в кубанке хожу с первого класса... уже здесь, в Пашковской станице, в городе Краснодаре, на меня смотрели как на чудака, потому что я ходил в кубанке. Я не знаю, где отец достал... он покупал... хромовые детские сапоги и... мне завидовали и однокурс... одноклассники ребята. Я в университет ходил в кубанке, тоже на меня смотрели — какой-то ненорма... а мне плевать было, шо они обо мне думают. Я знаю одно, что тем самым и я демонстрирую, что я казак» (казачий генерал, экс-атаман ККВ, информант № 1).

Другой информант демонстрировал прагматичность взглядов, по сути не отвечая на вопросы, не стараясь рассуждать на тему казачьего этоса, а вспоминая какие-то казачьи соревнования среди молодежи. Отвечая на вопрос, в чем отличие обычных спортивных соревнований от казачьих, он в первую очередь акцентирует:

«Форма, дисциплина» (информант № 9).

Имея также опыт участия в различных казачьих мероприятиях, отметим, что, помимо названных категорий здесь представлен специфический набор соревновательных практик, определенный фрейм мероприятий, который соответствует всем коллективным акциям казачества. Близкий по смыслу и аффектированности пассаж звучит у другого респондента:

«...На казачьих мероприятиях казак должен быть по форме, как бы там ни было, если это военно-полевые сборы, то он должен быть в полевой форме, если это повседневное какое-то мероприятие, он должен быть в повседневной форме, если это парадное какое-то мероприятие — само собой, казак должен в парадной быть форме. Это... ты идешь в том, в чем ходили твои предки, как бы это да... именно парадная форма она, конечно... я участвовал в параде, шел по Краснодару, вот это самое... вот как бы, и когда ты идешь, когда идет строй... Вообще, это вообще мероприятие... у меня это захватывало дух, парада именно в Краснодаре... вот, когда мы только туда приехали, и вот эта прррросто тьма казаков, просто-напросто все по парадкам, белые

перчаточки, все с иголочки, вот так вот... это, конечно, ну, прям... ты чувствуешь, да... ууух, мы сила!» (информант № 10).

Помимо важности формы как элемента, определяющего принадлежность и самоощущение себя казаком, информант пытается найти слова для той самой категории аффекта, которая производит искомое измерение солидарности и закрепляет в сознании казака идею (прототип) некой кумулятивной силы, имеющей милитаризованный и маскулинный характер. Важно, что в согласованности с теоретической рамкой мы видим необходимость общего перформанса как коллективного «столкновения тел», некого общего стимула аффектации и последующей солидаризации. Такой посыл мы находим и у других информантов:

«Гордость берет от ощущения себя казаком!» (молодой казак хуторского казачьего общества ККВ, далее информант № 5).

Информант: Вот вы на параде были? Ты ж был же на параде? В Краснодаре... Какая там атмосфера, а? Ради этого только можно в казачестве быть! Интервьюер: А какая там атмосфера?

Информант: Ну, восторга. Восторг, такой позитивный, положительный восторг, что есть еще у России сила, которой можно гордиться по праву... вот, гордиться православному человеку нельзя ничем, потому что все от Бога, да, а вот тут можно гордиться...

...Вот после поминовения этого идет восторг этот, вот тогда идут хорошие мысли, после службы хорошие мысли... и там зарядился Духом Святым, и у тебя на ряду правильные мысли... И вот после этого поминовения... вот у нас сейчас этот восторг идет немножко» (информант № 3).

Здесь собеседники артикулируют места для проявления коллективного аффекта, который, несомненно, возникая на индивидуальном уровне, приобретает коллективные формы, приводя к солидарности как в момент общего действия, так и впоследствии — как индивидуальный солидаризирующий эхо-эффект. Для успешности сохранения, воспроизводства и закрепления солидарности существует ряд таких мест «столкновения тел» (что и обнаруживается нами), которые имеют как коммеморативный характер, так и включают собственно милитаризованный перформанс. Также нужно отметить сложность вербализации переживаний информантами (мы видим категории восторга, атмосферы, гордости), что свидетельствует о преимущественно докогнитивном переживании аффекта. Наличие эмотивного языка, проговаривание таких аспектов встречается в первую очередь среди казаков, регулярно участвующих в мероприятиях. Регулярная практика, вероятно,

¹ Однако сам анализ такого коллективного взаимодействия, проведенного нами, здесь приводиться не будет, а составит содержание отдельной статьи.



создает условия для резонирования индивидуального и коллективного восприятия. То, что С. Могаддари называет аффективным резонансом, работает как солидаризирующая сила, как «отношение, с помощью которого люди объясняют свое стремление к резонансным встречам с другими людьми» [Moghaddari, 2021: 237], как необходимое условие акции и стремление к ее повторению. Самокатегоризация себя казаком в некотором смысле может рассматриваться как продукт зеркального резонанса (по С. Могаддари), что отражается в переживании актором трагического прошлого на уровне эмоциональной сопричастности, категоризируемой как «несправедливость».

«Ну, поминовения — это больше душевное, это больше отдача дани памяти предкам, потому что они пострадали за наше, как бы... и их в этот день надо почтить... конечно, ну, есть обида за несправедливость, потому что, ну, в большинстве случаев, ну, воинов расстреляли подло, в спину, из-за укрытия... В большинстве случаев это было, ну, не в открытом бою...» (информант № 10).

Интересна и обнаруживающая себя категория условного «крестьянина», наряду с категорией воина-защитника. Некоторые информанты отмечают необходимую связь казака с землей, здесь подтверждается удачное использование Н. Бондарем категорий «воины и хлеборобы» [Бондарь, 2002]:

«Ну а так тихо-спокойно живешь, занимаешься хозяйством…» (информант № 4).

«В первую очередь да, защитник Отечества своего, но казак, ну как... да, казак в военное время воин, а в невоенное время он точно так же может заниматься животноводством, возделывать землю, ну, чтото именно делать на своей земле именно, как бы такой момент» (информант № 10).

Отметим, что социальный типаж воина-казака вписан и в более широкий круг этничностей с похожими идентификационными конструктами. Интересен в этом смысле пассаж информанта, отсылающий нас к некоторому параллелизму идентичности казачества с идентичностью народов Кавказа как близкой милитаризованно-маскулинной группы.

«Я очень с большим уважением отношусь к чеченцам, Кадыров отправил пацанов своих, как бы им... я просто как бы играю в страйкбол, они приезжают ко мне на игры, я общаюсь со многими... Вот, и я считаю, что казак именно тоже так должен воспитываться, у... я знаю, что кадыровский полк... молодежь с 12 лет, спит с боевым автоматом... хорошо, что там у меня была возможность, я приобрел охолощенку, что у меня хотя бы детвора... ну, я выезжаю, когда, ну, могут почувствовать, как это! Оно, во-первых, безопасно, во-вторых, ну, ты

чувствуешь реально, что... ну, что-то настоящее как бы... даже взрослый мужик, ну, получает удовольствие, постреляв с охолощенки, кто не стрелял с боевого автомата, ну, это чувствуется. У меня 103-й калаш, как бы» (информант № 10).

Мы выделяем здесь комплекс важных для нашего исследования посылов. Прежде всего подтверждается отмечаемая и первым информантом тесная связь культур казачества и черкесов (название условное).

«В культуре кубанского казачества и терского казачества, своего рода пластом, помимо украинских, черноморских традиций, линейных традиций, но есть еще пласт кавказских традиций» (информант № 1).

Это обусловлено также историческим развитием казачества, которое происходило в постоянном и не всегда враждебном взаимоотношении двух этих групп. Плотный культурный сплав присутствует в обрядовой, музыкальной и других сферах жизни казачества — сама традиционная одежда и оружие кубанского казачества являются, по сути, репликами традиционной униформы горцев: черкеска, бешмет, башлык. Также мы видим контур аффектации через оружие как артефакт милитаризовано-маскулинной идентичности, говоря о взаимодействии с которым, информант акцентирует именно чувственный аспект. Это лишний раз подтверждает определенный параллелизм в типажах милитаризованной и маскулинной идентичности Кубанского казачества с различными этносами и сообществами схожих культур Кавказа.

Кроме того, важнейшей смысловой составляющей идентичности казачества, полученной нами в результате исследования, становится категория «вольности», или «воли». Интересный парадокс: в то время как милитаризованность предполагает строгую иерархию, субординацию и дисциплину, в казачьем этосе присутствует изначальный демократический принцип выборность всех должностей, такая форма организации, как «круг» (сама идеологическая посылка фигуры круга, раскладываемого горизонтально, отсылает нас к историческим прототипам равенства). Таким образом, здесь обнаруживается специфический режим милитаризованности, который стоит выделить как отдельный тип — казачья милитаризованность. Если маскулинность представляется достаточно обрисованной и вписывающейся в существующие концептуальные схемы, то именно парадокс «воля — субординация» дает оригинальную идентификационную матрицу. Надо отметить, что реализация принципа воли на общем уровне всей казачьей организации сталкивается с определенными трудностями, что и находит свое отражение в нарративах информантов. Однако стоит отметить, что это достаточно распространенная практика на уровне местных, районных, городских и хуторских казачьих обществ. Проблемы с практическим воплощением этоса воли в широком масштабе имели место и в историческом прошлом казачества, они обнаруживаются и в современном конструкте социальной идентичности казачества.



«То есть это люди, да, люди вот такого, повышенного такого состояния духовного, какого-то... ну, вот, может быть, жажда свободы вот этой, вольности вот этой вот» (казачий священник городского казачьего общества ККВ, казачий полковник, далее информант № 2).

«Кто такой казак? Это вольный человек, честный и вольный человек» (информант № 4).

«Казак — это вольный человек. Казак — это состояние души. Вольное состояние» (рядовой казак хуторского казачьего общества ККВ, далее информант № 8).

«Расстраивает, что стало много бюрократии, а не демократии казачьей» (информант \mathbb{N}^2 10).

Один из респондентов даже описывает некую легенду, что при поиске идеальной демократии последняя была найдена именно у казаков. При этом в нарративах мы практически не встречаем (лишь косвенно в одном интервью) какой-то отсылки к базовой категории традиционной культуры, а именно иерархического почитания старших.. В определенной мере обнаруживается даже монархический взгляд (опять же, интересно его сосуществование с базовой ценностью вольности):

«У меня, говорит, все равны... Путин... царь, да?» (информант № 3).

«Да, то есть у них имперское сознание в принципе, где-то как-то... Бог от нас, от казаков, ожидает, чтобы мы были тем дирижером в нашей стране. То есть, если... да, согласен с вами, что вы создали Россию, но ваше назначение сохранить эту Россию, и чтобы мы не просто там, худо-бедно лапотная какая-то лубочная была Россия, а чтоб это была империя, мир-империя» (информант № 2).

Тем не менее мы встречаем весьма критический взгляд на обращение казаков к своему роду, на отсутствие устремленности в будущее (ретроспективный характер казачьего самосознания), отсутствие воспроизводства казачьей культуры и то, что информант № 2 называет «хуторской психологией».

Интересен оригинальный взгляд информанта на нонконформистскую казачью природу, который несколько выделяется из описанных категорий. Взгляд наиболее, как кажется, концептуальный:

«Я лично для себя считаю, что казаки — это... но они смеются над этим, но тем не менее... это состояние духа, казак — это какоето такое вот, ну, скажем, из ряда вон выходящее. У нас в России, допустим, были ж такие люди, ну, не укладывались в такие обычные рамки, не могли они жить, как все, им обычно либо головы отрубали, либо

вешали их, либо вот ссылали в Сибирь... вот, а те, вот которым пассионарность давала возможность унести ноги вместе с головой, то вот они — казаки-разбойники — не зря вот это словосочетание, одно без другого не это... То есть это люди, да, люди вот такого, повышенного такого состояния духовного, какого-то» (информант № 2).

Здесь мы имеем несколько специфический взгляд на казачество как пассионарное, обладающее частной моралью, легитимирующее для себя насилие («казаки-разбойники»). Любопытна трактовка казачества здесь именно тем, что от разбойничьего в прошлом нарратива остается повышенное духовное состояние, особость духа, которые автор нарратива полагает ценными, а его собеседники — смешным.

Относительно еще одного особняком стоящего критического нарратива стоит отметить, что информант не видит в казаке в первую очередь воина, казак для него — это представитель иной языковой и этнической группы (акцентируется даже языковое отличие, как значимое:

«Я не знаю по… по-нашему рушить, а по-русски я не знаю как» (информант № 1).

Главным обобществляющим институтом он называет семью как основу казачьей идентичности — не милитаризованной, а в первую очередь культурной. Такая позиция обнаруживается ввиду опыта социализации и отмечается, несмотря на генеральские погоны в прошлом, светскость, интеллигентность и практически отсутствие на момент интервью связи с военной средой. Данный информант стоял у истока возрождения казачества в Краснодаре, которое начиналось, с исторического факультета университета, где информант до сих пор преподает, возрождение изначально было связано с культурной составляющей казачьего бытования:

«Вот кладбище, затем шли всех к бабушке, и уже у бабушки там накрывался стол, там выпивали и там пели песни, вот, причем говорили как... А ну ка давайте заспиваем, шо этот любил, а ну-ка давайте вот это, а ну-ка давайте вот то, то есть через песни вспоминали тех, кого... я их не видел уже, вот, и не мог их видеть, потому что одни погибли на войне, а других... деда я вообще — что там, и отец мой не помнит ничего, то есть это традиция была. И мы до сих пор поем... Если мы сели, если это не печальный повод, обязательно звучать песне...

Теперь-то песня ушла, из семьи ушла песня, к сожалению, теперешние казаки не являются носителями культурных традиций, они потребители. И то потребители какие, ну, вот так послушать, послушать, а сами они, казаки нынешние, как я говорю, ни петь, ни рисовать, ни украсть, ни посторожить. А поскольку утрачено многое, вот это все, то это формирует или оказывает влияние на их этническое самосознание» (информант № 1).



У нашего собеседника оригинальный взгляд на казачество и его проблемы, и, несмотря на то что здесь мы не обнаруживаем ранее широко встречаемого у информантов милитаризованно-маскулинного идентичностного основания, мы видим важность коллективных практик, важность возникновения сонастройки и солидаризации, которые в контексте коллективного пения, безусловно, происходят если не исключительно, то преимущественно в аффективном измерении.

Завершая тематический анализ материалов интервью, можно сделать ряд выводов:

- 1) в нарративах опрошенных кубанских казаков обнаруживаются идентичностные основания «Мы-идеального» образа;
- 2) этими основаниями выступают следующие самокатегоризации: «милитаризованность» (силы, защитников и т. п.), гомосоциальность и гетеронормативность, религиозность (по крайней мере, декларируемая), отчасти монархическая идея или идея служения России, этничность, патриархальность и традиционность как в плане деятельности (необходима связь с землей), так и насыщенность традиционными практиками, которые имеют важнейшее значение для самоощущения себя казаком, а также внутренняя диспозиция «казачьей вольности», образующая связи с милитаризованностью;
- 3) наличие в нарративах аффектированных пассажей, связанных с участием в различных практиках и коллективных акциях, обнаруживает проговариваемый момент аффективной солидарности, объекты аффектирующего ассамбляжа и мест аффектации;
- 4) предъявлена важная задача казачества на поколенческом срезе воспитательная, транслирующая культурные образцы и практики, имеющие характер как исключительно культурных традиций, так и потенциального праксиса военизированности, выражающей идею «защитника Родины».

По совокупности упомянутые аспекты и составляют нарративизированную картину предъявляемых в интервью оснований коллективной идентичности казачества.

Заключение, или «Каким ты был, таким ты и остался»

Предложенная в статье аналитическая оптика парадоксально дополняет известные исследовательские тренды относительно социальной группы казачества. Если ранее казачество представляло собой герметичное сословие «служилого» характера, с ценностями вольницы, обменянной на лояльность властям и в основном крестьянским способом бытования, то впоследствии казачество ассимилировалось, перестало быть самовоспроизводящейся группой, видоизменились его система быта, этос, сама категория «казачество» постепенно историзировалась. В транзитную эпоху казачество стало заместительной идентификационной матрицей, устраняющей социальные неопределенности для постсоветского

индивида, населяющего прежние казачьи регионы. Что сохранилось на этом пути, а что осталось невостребованным? Подход, основанный на качественной парадигме эмпирического анализа (анализе нарративов) оказался достаточно чувствительным к вопросу о том, кто такой сегодня казак. Наследием еще нужно распорядиться! Концептуальное внимание к процессу коллективной идентификации воспроизводимого казачества обнаруживает достаточно стабильные идентификационные комплексы, описываемые теориями маскулинности, которая, в свою очередь, сфокусирована на гегемонии, иерархиях и милитари режимах. При этом, опираясь на нарративно артикулируемый процесс самопрезентации казачества и категории идентификации, мы привлекли также концепт аффекта.

В эмпирической части исследования мы очертили контур современной коллективной идентичности казачества, проговариваемой в нарративах его представителей. К нормативному канону казака можно причислить «милитаризованность», гомосоциальность и гетеронормативность, православие, отчасти монархическую идею или идею служения России, этничность, патриархальность и традиционность. При этом данная идентичность предъявляется как тесно сопряженная с историческим нормативным образом казачества, ее центральное измерение — милитаризованная маскулинность. Эти категории также имеют значимые механизмы усвоения через переживание, самокатегоризацию на аффективном уровне.

Литература

Берберова К. К. Типологические особенности маскулинных конструктов: социокультурный анализ // Теория и практика общественного развития. 2013. № 12. С. 30–35. EDN: RRUCNZ

Бондарь Н.И. Воины и хлеборобы (некоторые аспекты мужской субкультуры кубанского казачества) // Вопросы казачьей истории и культуры. 2002. С. 45–59.

Васильев И. Ю. Российское казачество: место в истории // Национальные приоритеты России. 2019. Т. 33. № 2. С. 6–12. EDN: SGQEZC

Горбатенко Н. С., Сидоренков А. В. Концептуальные компоненты подхода теории социальной идентичности к изучению групп // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2008. № 4. С. 112–116.

Здравомыслова Е. А., Тёмкина А. А. Что такое «маскулинность»? Понятийные отмычки критических исследований мужчин и маскулинностей // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 6. С. 48–73. DOI: https://doi.org/10.14515/MONITORING.2018.6.03 EDN: VWSALC

Рождественская Е.Ю. Социологическая концептуализация маскулинности // Социологические исследования. 2002. № 11. С. 15–25.

Рябова Т.Б., Рябов О.В. «Настоящий мужик»: о гендерном измерении символической политики // Женщина в российском обществе. 2011. № 3. С. 68–72. EDN: OJMXLP

Хитрук Е.Б. Концепция гегемонной маскулинности в теории Рэйвин Коннелл: от XX к XXI столетию // Социологический журнал. 2017. Т. 23. № 4. С. 8–30. DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2017.23.4.5526 EDN: YLBEJJ

Bens J., Diefenbach A., John T., et al. The Politics of Affective Societies: An Interdisciplinary Essay // EmotionCultures. Bielefeld: Transcript Verlag, 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.14361/9783839447628

Bourdieu P. Die maennliche Herrschaft // Ein alltaegliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der Sozialen Praxis / Ed. by I. Doelling, B. Krais. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997. P. 153–217.

Connell R., Messerschmidt J. W. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept // Gender and Society. 2005. Vol. 19. № 6. P. 829–859. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243205278639



Karakayali S. Feeling the Scope of Solidarity: the Role of Emotions for Volunteers Supporting Refugees in Germany // Social Inclusion. 2017. Vol. 5. № 3. P. 7–16. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/si.v5i3.1008

Kymlicka W. Solidarity in Diverse Societies: Beyond Neoliberal Multiculturalism and Welfare Chauvinism // Comparative Migration Studies. 2015. Vol. 3. № 1. P. 1–17. DOI: https://doi.org/10.1186/S40878-015-0017-4

Massumi B. Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. Durham: Duke University Press, 2002. P. 23–45. DOI: https://doi.org/10.5860/choice.40-1946

Mazzarella W. Affect: What is it Good for? // Enchantments of Modernity: Empire, Nation, Globalization / Ed. by S. Dube. New York: Routledge, 2009. P. 291–309. DOI: http://dx.doi.org/10.1201/9781003071020-13

Moghaddari S. The Affective Ambiguity of Solidarity: Resonance Within Anti-Deportation Protest in the German Radical Left // Critical Sociology. 2020. Vol. 47. № 2. P. 235–248. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0896920520932661

Reid A., Deaux K. Relationship Between Social and Personal Identities: Segregation or Integration // Journal of Personality and Social Psychology. 1996. № 71. P. 1084–1091. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.6.1084

Roach J., Billman D. Issues in the Multiply Representation of Social Groups // Bulletin of the Psychonomic Society. 1993. Vol. 31. № 5. P. 84–97.

Somers M. The Narrative Constitution of Identity: a Relational and Network Approach // Theory A. Society. 1994. Vol. 23. № 5. P. 605–649.

Tapscott R. Militarized Masculinity and the Paradox of Restraint: Mechanisms of Social Control under Modern Authoritarianism // International Affairs. Vol. 96. № 6. P. 1565–1584. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ia/iiaa163

Tajfel H. Social Categorization // Introduction à la Psychologie Sociale / Ed. S. Moscovici. 1972. № 1. P. 272–302. DOI: https://doi.org/10.1002/EJSP.2420030103

Сведения об авторе:

Пузанков Илья Андреевич — аспирант, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail:** iapuzankov@hse.ru. **ORCID ID**: 0000-0003-4906-7823.

Статья поступила в редакцию: 13.10.2022 Принята к публикации: 10.12.2022

"A Cossack's Whole Life is War, there is no Fear in a Cossack's Heart!" or How They Become Cossacks Today

DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.3

Ilya A. Puzankov HSE University, Moscow, Russia E-mail: iapuzankov@hse.ru

The work is devoted to the consideration of the modern Cossacks (on the example of the Kuban), in particular its collective identity through the prism of a complex of theoretical approaches:

¹ This research is supported by the Faculty of Social Sciences, HSE University.

the theory of masculinity (in the dimensions of hegemony and militarization), as well as affective solidarity grounded on the theory of collective identity. Empirically, the collective identity of the Cossacks is considered through the narratives of the representatives of the Kuban Cossack army, where it is invoked and categorized. The results of the study were the categorization contour of the modern collective identity of the Cossacks. The center of the social identity of the modern Cossacks reveals a historical pattern of militarized masculinity, which is significantly saturated with affective experiences of informants when pronouncing certain categories. The presence of such an experience provides a more complete interiorization of the specific foundations of identity by the Cossacks.

Keywords: Kuban Cossacks; militarized masculinity; affect; identity; narrative identity

References

Bens J., Diefenbach A., John T., et al. (2019) The Politics of Affective Societies: An Interdisciplinary Essay. *EmotionCultures*. Bielefeld: Transcript Verlag. DOI: http://dx.doi.org/10.14361/9783839447628

Berberova K.K. (2013) Tipologicheskie osobennosti maskulinnyh konstruktov: sociokul'turnyj analiz [Typological Features of Masculine Constructs: Sociocultural Analysis]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya* [Theory and Practice of Social Development]. No. 12. P. 30–35. (In Russ.) EDN: RRUCNZ

Bondar N.I. (2002) Voiny i hleboroby (nekotorye aspekty muzhskoj subkul`tury` kubanskogo kazachestva) [Warriors and Grain Growers (Some Aspects of the Male Subculture of the Kuban Cossacks)]. *Voprosy kazach'ej istorii i kul'tury* [Questions of Cossack History and Culture]. P. 45–59. (In Russ.)

Bourdieu P. (1997) Die maennliche Herrschaft. In: Doelling I., Krais B. (eds.) *Ein alltaegliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der Sozialen Praxis.* Frankfurt a.M.: Suhrkamp. P. 153–217.

Connell R., Messerschmidt J.W. (2005) Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. *Gender and Society*. Vol. 19. No. 6. P. 829–859. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243205278639

Gorbatenko N.S., Sidorenkov A.V. (2008) Konceptual'nye komponenty podhoda teorii social'noj identichnosti k izucheniyu grupp [Conceptual Components of the Approach of the Theory of Social Identity to the Study of Groups]. *Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskij region. Obshchestvennye nauki* [Izvestiya vuzov. The North Caucasus Region. Social Sciences]. No. 4. P. 112–116. (In Russ.)

Hitruk E.B. (2017) Koncepciya gegemonnoj maskulinnosti v teorii Rejvin Konnell: ot XX k XXI stoletiyu [The Concept of Hegemonic Masculinity in the Theory of Raven Connell: from the XX to the XXI century]. *Sociologicheskij zhurnal* [Journal of Sociology]. Vol. 23. No. 4. P. 8–30. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2017.23.4.5526 EDN: YLBEJJ

Karakayali S. (2017) Feeling the Scope of Solidarity: the Role of Emotions for Volunteers Supporting Refugees in Germany. *Social Inclusion*. Vol. 5. No. 3. P. 7–16. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/si.v5i3.1008

Kymlicka W. (2015) Solidarity in Diverse Societies: Beyond Neoliberal Multiculturalism and Welfare Chauvinism. *Comparative Migration Studies*. Vol. 3. No. 1. P. 1–17. DOI: https://doi.org/10.1186/S40878-015-0017-4

Massumi B. (2002) *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Durham: Duke University Press. P. 23–45. DOI: https://doi.org/10.5860/choice.40-1946

Mazzarella W (2009) Affect: What is It Good for? In: S. Dube (ed.) *Enchantments of Modernity: Empire, Nation, Globalization*. New York: Routledge. P. 291–309. DOI: http://dx.doi.org/10.1201/9781003071020-13

Moghaddari S. (2020). The Affective Ambiguity of Solidarity: Resonance Within Anti-Deportation Protest in the German Radical Left. *Critical Sociology*. Vol. 47. No. 2. P. 235–248. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0896920520932661



Reid A., Deaux K. (1996) Relationship Between Social and Personal Identities: Segregation or Integration. *Journal of Personality and Social Psychology*. No. 71. P. 1084–1091. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.71.6.1084

Roach J., Billman D. (1993) Issues in the Multiply Representation of Social Groups. *Bulletin of the Psychonomic Society*. Vol. 31. No. 5. P. 84–97.

Rozhdestvenskaya E. Yu. (2002) Sociologicheskaya konceptualizaciya maskulinnosti [Sociological Conceptualization of Masculinity]. *Sociologicheskie issledovaniya* [Sociological Research]. No. 11. P. 15–25. (In Russ.)

Ryabova T.B., Ryabov O.V. (2011) "Nastoyashchij muzhik": o gendernom izmerenii simvolicheskoj politiki ["A Real Man": about the Gender Dimension of Symbolic Politics]. *Zhenshchina v rossijskom obshchestve* [A Woman in Russian Society]. No. 3. P. 68–72. (In Russ.) EDN: OJMXLP

Somers M. (1994) The Narrative Constitution of Identity: a Relational and Network Approach. *Theory A. Society*. Vol. 23. No. 5. P. 605–649.

Tapscott R. (2020) Militarized Masculinity and the Paradox of Restraint: Mechanisms of Social Control under Modern Authoritarianism. *International Affairs*. Vol. 96. No. 6. P. 1565–1584. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ia/iiaa163

Tajfel H. (1972) Social Categorization. In: S. Moscovici (ed.) *Introduction à la Psychologie Sociale*. No. 1. P. 272–302. DOI: https://doi.org/10.1002/EJSP.2420030103

Vasil'ev I. Yu. (2019) Rossijskoe kazachestvo: mesto v istorii [Russian Cossacks: a Place in History]. *Nacional'nye prioritety Rossii* [National Priorities of Russia]. Vol. 33. No. 2. P. 6–12. (In Russ.) EDN: SGQEZC

Zdravomyslova E. A., Tyomkina A. A. (2018) Chto takoe «maskulinnost'»? Ponyatijnye otmychki kriticheskih issledovanij muzhchin i maskulinnostej [What is "Masculinity"? Conceptual Master Keys of Critical Studies of Men and Masculinities]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny* [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 6. P. 48–73. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.14515/MONITORING.2018.6.03 EDN: VWSALC

Author bio:

Ilya A. Puzankov — Graduate Student, HSE University, Moscow, Russia. **E-mail:** iapuzankov@hse.ru. **ORCID ID:** 0000-0003-4906-7823.

Received: 13.10.2022 **Accepted:** 10.12.2022



DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.4

EDN: GRNDFC

Роль «отношенческой рефлексивности» в семейных отношениях: кейс-стади на примере двух молодых пар¹

Ссылка для цитирования:

Любинарская Н.А. Роль «отношенческой рефлексивности» в семейных отношениях: кейс-стади на примере двух молодых пар // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2022. Т. 14. № 4. С. 62–88. DOI: https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.4. EDN: GRNDFC

For citation: Lyubinarskaya N.A. (2022) The Role of "Relational Reflexivity" in Family Relationships: a Case Study on the Example of Two Young Couples. *Interaction. Interview. Interpretation.* Vol. 14. No. 4. P. 62–88. DOI: https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.4.





Любинарская Нина Александровна²

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва, Россия

E-mail: nina.lyubinarskaya@gmail.com

В работе анализируется динамика отношений супругов и выявляются роли «отношенческой рефлексивности» и «автономной рефлексивности» на примере интервью с двумя молодыми семьями, проведенными в 2019 и 2021 годах. В основе исследования лежит предположение, что «отношенческая рефлексивность» играет важную роль в устойчивости семейных отношений: ее наличие способно укрепить их, а ее отсутствие — привести к кризису в семье или к разводу. По результатам сопоставления нарративов каждой пары были выявлены изменения «отношенческой рефлексивности» в семье с течением времени. Эти трансформации мы прослеживаем через анализ нарративов респондентов, которые мы будем объяснять через

¹ Статья подготовлена в рамках проекта «Осознание жизни в браке молодыми супругами. Разработка категорий общения, взаимности, совместности» при поддержке ПСТГУ и Фонда «Живая традиция». URL: http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/family (дата обращения: 20.05.2022).

² Автор искренне благодарит И. Павлюткина, М. Голеву, П. Алексееву (Калиновскую) и других коллег из лаборатории «Социология религии» за совместные обсуждения, внимание к деталям и рекомендации по улучшению публикации, а также выражает благодарность независимым рецензентам за ценные замечания.



категории, конструирующие «отношенческую рефлексивность», используя методологию уже имеющегося исследования в области социологии семьи под авторством П. Донати, М. Москателли, С. Феррари, М. Парис и др. В своей работе ученые опираются на реляционную теорию социологов П. Донати и М. Арчер и утверждают вслед за ними, что для возникновения «отношенческой рефлексивности» в семье необходимо учитывать два центральных измерения (dimensions)— «управление отношениями» (relational steering) и «отстранение от себя» (self-detachment), которые позволяют отношениям быть устойчивыми к трудностям семейной жизни за счет конструирования Мы-отношений (we-relation). Таким образом, прочность союза может зависеть от реакции на внешние обстоятельства, на то, как принимаются решения и как разрешаются дестабилизирующие ситуации. «Отношенческой рефлексивности» может быть противопоставлен «индивидуализм». В логике рефлексивных отношений Донати и Арчер, индивидуализм имеет сходства с «автономной рефлексивностью», для которой важно ориентироваться на «Я», а не на «Мы». Таким образом, излишний индивидуализм в паре может приводить к игнорированию совместных трудностей и создавать сложности в управлении отношениями, что в будущем способно спровоцировать кризис в семье и повлиять на совместное будущее.

Ключевые слова: молодая семья; отношенческая рефлексивность; автономная рефлексивность; развод; кейс-стади; реляционная теория; индивидуализм

Теоретическая рамка исследования и постановка проблемы

Результаты исследований показывают, что более 40% разводов происходят в первые пять лет брака¹. Ученые называют эти годы одними из самых тяжелых для молодой семьи² [Лагойда, 2017; Долбик-Воробей, 2003]. Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», для этого существуют определенные причины³. Часть из них исследователи относят к незрелости молодых супругов и излишнему индивидуализму на этапе вступления в брак [Donati, 2014; Чернова, Шпаковская, 2010], к неподготовленности супругов «к разрешению семейных конфликтов, психологической несовместимости, бытовой неустроенности и материальному неблагополучию» [Долбик-Воробей, 2003: 81]. Также, по мнению исследовательницы семьи С. Кунц, причиной

¹ Браки и разводы в Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf (дата обращения: 22.05.2022).

² Под молодыми супругами понимаются люди, состоящие в зарегистрированном браке не более пяти лет (на момент проведения первого интервью).

³ Основные причины для развода, по мнению россиян: материальные сложности, отсутствие взаимопонимания / не сошлись характерами / семейные конфликты и пьянство/алкоголизм. См.: О разводах. Допустимы ли разводы? И какие причины считаются вескими для расторжения брака? // ФОМ. 10.01.2013. URL: https://fom.ru/rabota-i-dom/10769 (дата обращения: 19.05.2022).

развода могут быть институциональные особенности, когда нормы брака структурируют за супругов надежды и ожидания, которым сложно следовать в быстро меняющемся мире. По мнению С. Кунц, подобные требования, такие как «любить друг друга», «не обращать внимание на внешнее давление», «ставить отношения друг с другом выше любых социальных связей», преданность, откровенность и открытость, делают брак как институт более «хрупким» [Coontz, 2005: 20]. Бергер и Келлнер подтверждают тезис, что брак — это «сложное предприятие», и вводят понятие социальной объективации¹, которой подвержены вступающие в брак «два незнакомца», вынужденные заново самоопределяться в отношениях со значимым другим [Berger, Kellner, 1964: 5].

Однако существуют и другие подходы для объяснения потенциала семейных отношений в браке², в частности, реляционный подход, для изучения которого был введен концепт «отношенческая рефлексивность» (relational reflexivity). Под «отношенческой рефлексивностью» мы будем понимать «реляционную операцию, выполняемую разумом индивида в отношении другого, который может быть как внутренним (Я в роли Другого), так и внешним (Другой), с учетом социального контекста и порождающего отношение, представляющее собой эмерджентный эффект между сторонами, которые оно связывает» [Донати, 2019: 76]. Это ключевое понятие для социологовреляционистов [Donati, Archer, 2015], предполагающих, что рефлексивность можно рассматривать только через отношения людей друг с другом, а не индивидуально [Giddens, Beck, Lash, 1994]. По мнению Донати и Арчер, «биография каждого человека находится в тесном контакте со значимым Другим и несоциальным миром. Человек не является самодостаточной сущностью: он/ она — "субъект в отношениях", где социальные отношения отчасти считаются основополагающими для личности, хотя допускается, что они не могут бытьисключительно такими» [Donati, Archer, 2015: 15]. В то же время сторонники рефлексивной модернизации говорят об обратном и считают, что индивидуализм не мешает пониманию отношений с другим и другими, а, наоборот, помогает понять себя, свои действия через саморефлексию. Таким образом, Арчер противопоставляет «отношенческой рефлексивности» «автономную рефлексивность», которая «характеризуется самодостаточностью внутреннего диалога, непосредственно приводящего к действию и обусловленного рациональностью» [Любинарская, 2020: 187] и является категорией, характерной для индивидуализированного общества [Beck, Beck-Gernsheim, 1995; Beck,

¹ Бергер и Келлнер считают, что каждое социальное отношение (в нашем случае брак) требует объективации, то есть процесса, посредством которого субъективно переживаемые значения становятся объективными для индивида и, во взаимодействии с другими, представляются общей собственностью [Berger, Kellner, 1964: 5].

² Помимо реляционного подхода актуальность данной работы обусловлена наличием социологических и психологических исследований о том, как пары осмысляют свои отношения в семье в разные периоды супружеской жизни. Например, осмысление вступления в брак [Голева 2020], готовность к самопожертвованию в семье [Bahr, Bahr, 2001], возникновение «общности» в браке [Павлюткин, 2021]. Особое значение имеют исследования, проведенные в период пандемии, они показывают, каким образом семьи преодолевают кризисы и как применение «копинг-стратегий» способствует устойчивости отношений [Бонкало, Феоктистова, Шмелева, 2020].



Beck-Gernsheim, 2002; Giddens, 1992; Cherlin, 1994; Illouz, 2008; Illouz, 2012]. Какова в таком случае роль «отношенческой рефлексивности» в семейных отношениях? Можно ли говорить, что ее возникновение или отсутствие способно влиять на отношения супругов? В основе исследования лежит предположение, что «автономная» и «отношенческая рефлексивность» оказывают влияние на устойчивость семейных отношений.

Концептуализация понятий

Опираясь на результаты исследований социологов и используя их выводы о том, как создается «отношенческая рефлексивность» и как она способна конструировать «Мы-отношения» в жизни супругов [Донати, 2019; Moscatelli et al., 2021], с помощью метода кейс-стади мы проанализируем интервью с двумя молодыми парами в разные периоды их совместной жизни1. Также, определим ситуации, в которых супруги демонстрируют «автономную рефлексивность». Таким образом, мы попытаемся определить, как, находясь в браке три года, каждая пара пришла к разным итогам: одна развелась, а другая нет. Наша цель — выявить роль «отношенческой рефлексивности» и «автономной рефлексивности» в каждой семье во время первых и вторых интервью, проследить, какое влияние оказал опыт пандемии на каждую пару, какова роль стресса и последствий кризисов в разводе одной пары и устойчивости другой пары, как супругами осмысляется семейная жизнь и чем различаются стратегии принятия решений в кризисных ситуациях в первых и вторых интервью. Мы проанализируем ситуации, которые можно определить как проявление «отношенческой рефлексивности» и «автономной рефлексивности», чтобы провести сравнение между двумя парами.

Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо рассмотреть существующие теоретические и эмпирические работы об «отношенческой рефлексивности» и «автономной рефлексивности». Первая из них — это работа социологов Донати и Арчер «Реляционный субъект» [Donati, Archer, 2015]. Для Донати и Арчер рефлексивность возможна только в контексте социальных отношений. [Donati, Archer, 2015: 15]. Социологи утверждают, что все мы живем в ситуации взаимозависимости друг от друга и не можем этому противостоять. Отношения в семье, с друзьями, с политическими или социальными институтами подразумевают двусторонний диалог, где участвуют оба субъекта. Больше людей начинают осознавать, что вместе они способны добиться бо́льших успехов с помощью новых форм социальных взаимодействий, а их решения, возможность выбора не являются чисто индивидуальными действиями, а принимаются по отношению к другим и с другими [Donati, Archer, 2015: 15].

¹ Интервью с каждой из пар были проведены два раза, отдельно с каждым из супругов; всего проанализировано восемь интервью.

Если говорить об «автономной рефлексивности», то, по мнению Донати и Арчер, она имеет сходство с индивидуализмом. Данную логику можно проследить в работе Донати, где он обращается к теории социального действия Вебера и противопоставляет ее «отношенческой рефлексивности». Автор пишет, что социальное действие Вебера, напротив, не наделяет отношения собственной реальностью: он (Вебер) видит двух индивидов (и их поведение), которые ориентируются друг на друга определенным образом, придавая смысл индивидуальным действиям [Донати, 2019: 25]. Той же точки зрения придерживается Гидденс, когда вводит понятие «чистые отношения», суть которых в осознании себя, своих потребностей в паре, где каждый получает удовольствие от этого взаимодействия и не ждет чего-то взамен [Гидденс, 2004: 80]. Так, «чистые отношения», где каждый получает от общения взаимное обогащение, подобное «любви-слиянию», когда «каждый ценит индивидуальное в другом и раскрывает себя другому» [Гидденс, 2004: 80], полностью противопоставлены социальным отношениями Донати и Арчер, так как для последних важна направленность на другого и возможность оценить его опыт для создания «Мы-отношений».

Донати и Арчер считают, что «отношенческая рефлексивность» в семье достигается за счет создания «Мы-отношений» — когда пары осмысляют свои отношения в различных жизненных ситуациях не индивидуально, а совместно, каждый способен к рефлексии и может «подняться над отношениями», чтобы понять ощущения Другого. В то время как «автономная рефлексивность», по аналогии с индивидуализмом, возникает тогда, когда человек самостоятельно принимает решение, как действовать, и надеется исключительно на себя. Социологи считают, что для построения устойчивых отношений важно проявлять «отношенческую рефлексивность» — общаться друг с другом и принимать решения, исходя из общих целей. Неудовлетворенность совместной жизнью или общением в будущем может негативно отразиться на семейной жизни пары и либо усугубить имеющиеся кризисы в отношениях пары, либо привести к разводу, который в реляционной перспективе сопоставим с «отношенческим злом»¹.

В основе исследования лежит предположение, что «отношенческая рефлексивность» возникает между партнерами в различных жизненных ситуациях: когда они прилагают усилия для управления отношениями (relational steering), во время общения и при принятии решений (communication and decision making process), управляя стрессорами, кризисами и конфликтами (management of stressors, crisis and conflicts), вызванными внешними обстоятельствами. Если решения вышеописанных жизненных ситуаций принимаются

¹ В реляционной теории Донати и Арчер также противопоставляются категории «отношенческое благо» (relational goods) и «отношенческое зло» (relational evils), каждая из которых может характеризоваться определенными типами рефлексивности. Арчер выделяет четыре типа рефлексивности: коммуникативная рефлексивность, автономная рефлексивность, метарефлексивность и нарушенная рефлексивность. Для производства «отношенческих благ» характерна метарефлексивность, то есть «отношенческая рефлексивность», а для «отношенческого зла» — «нарушенная» и «автономная» рефлексивности. Таким образом, в реляционной перспективе развод отождествляется с «отношенческим злом» и может привести к разлуке (separation) [Donati, Archer, 2015: 65–66].



индивидуально, то партнеры прибегают к «автономной рефлексивности», предполагается, что отношения в семье перестают быть контролируемыми и могут привести к кризису.

В своей работе «Конструирование "Мы": отношенческая рефлексивность в семьях с детьми в Италии. Смешанный метод...» социологи-фамилисты опираются на реляционную теорию Донати и Арчер и утверждают, что для возникновения «отношенческой рефлексивности» в семье необходимо учитывать два центральных измерения, в которых находятся супруги, чтобы сделать отношения устойчивыми к трудностям повседневной жизни: управление отношениями и отстранение от себя [Moscatelli et al., 2021]. В рамках данного исследования мы попытаемся определить, в каких случаях в паре возникает «отношенческая рефлексивность», способствующая «Мы-отношениям», а в каких — «автономная рефлексивность», ориентирующаяся на индивидуальные потребности индивида. С помощью анализа количественных и качественных данных упомянутым фамилистам удалось выявить уровни рефлексивности (высокий, средний, низкий), а также определить факторы, оказывающие влияние на динамику отношений. В данной работе мы не будем учитывать количественные данные исследователей и остановимся на пояснении выбранных категорий.

Отстранение от себя [Donati, 2014: 3] — значит поставить себя на место Другого, попытаться занять позицию своего партнера и понять его точку зрения. Как пишут социологи, признание различия между «Я» и «Ты» — это первый шаг к построению «Мы» [Moscatelli et al., 2021: 3].

Управление отношениями [lbid: 3] — процессы, которые побуждают партнеров к действию в будущей перспективе. Управление отношениями можно наблюдать на разных этапах жизни, особенно когда пара сталкивается с дестабилизирующими событиями (переезд, поиск работы, пандемия COVID-19), требующими перестройки всей архитектуры отношений и отсылающими к стратегическому уровню управления. То, как пары ведут себя в поворотные моменты их жизни, — эффективная стратегия для изучения различных типов рефлексивности отношений и того, как они усиливают или ослабляют идентичность пары.

Общение и принятие решений [Donati, 2014: 4] — как пары общаются и принимают решения в конкретных ситуациях друг с другом и в общении с другими, внешними к ним акторами (родительская семья, бабушки и дедушки, друзья, коллеги). Пары, где общение и принятие решения основываются на открытости к точке зрения другого, могут рассматриваться как рефлексивные, в то время как пары, где происходит меньше общения и решения принимаются индивидуально, могут рассматриваться как рефлексирующие независимо друг от друга. В данной работе мы не будем рассматривать общение с другими акторами, а сконцентрируемся на общении супругов друг с другом.

Управление стрессорами, ссорами и конфликтами — как пары реагируют на стрессы, как сталкиваются с трудностями, как это может поставить под угрозу их личное и семейное благополучие.

Оценка отношений в паре— как супруги оценивают свои отношения в паре в целом, что думают о браке и какие ценности в него вкладывают. Также в этой категории содержится вопрос об удовлетворенности семейной жизнью — если ситуаций, когда что-то (не) нравится делать, в браке больше, то это оказывает влияние на удовлетворенность семейной жизнью.

Таким образом, мы можем предположить, что существуют два типа рефлексивности в семье: «отношенческая рефлексивность», где действия индивида направлены на другого и способствуют созданию «Мы-отношений», и «автономная рефлексивность», которая определяется логикой индивидуализма. Сравнительный анализ нарративов интервью позволит показать, как пары функционируют в различных ситуациях, какие отношения направлены на «Мы», а какие — на «Я» в семье, и как это влияет на супругов по отдельности.

«Отношенческая» vs «автономная» рефлексивность

Задачи настоящего анализа — определение роли «отношенческой рефлексивности» в молодой семье в разные периоды супружеской жизни и понимание того, каким образом она может быть связана с разводом. Нам предстоит проанализировать ситуации, которые можно определить как проявление «отношенческой рефлексивности» или «автономной рефлексивности».

Мы будем использовать некоторые инструменты анализа качественных данных социологов-фамилистов, но также стоит учитывать ряд ограничений, которые создает данный анализ для нашей работы.

Во-первых, результаты описанного исследования по конструированию «Мы-отношений» основаны на количественных и качественных данных, но мы использовали только качественные данные (глубинные интервью).

Во-вторых, разница в анализе качественных данных заключается в том, что коллеги не рассматривают опыт развода, в нашем случае анализ этого опыта является первостепенным, так как нам важно понять причины его возникновения.

В-третьих, исследователи анализируют пары с детьми, в нашем случае рассматриваются пары, не имеющие детей.

В-четвертых, на основе количественных данных ученые выявили три уровня «отношенческой рефлексивности»: высокий, средний и низкий, который они определяют через анализ не только двух концептов — «управление отношениями и «отстранение от себя», — но и используют другие параметры для объяснения того, как устроены отношения в семье. В данной работе мы не будем выводить уровни «отношенческой рефлексивности» в каждой из пар, а сконцентрируемся на ситуациях, которые демонстрируют «отношенческую» и «автономную рефлексивность».

В данной работе мы рассмотрим кейсы, демонстрирующие признаки «отношенческой рефлексивности» и «автономной рефлексивности» через функционирование пар в различных дестабилизирующих ситуациях (переезд, поиск работы, пандемия COVID-19 и т.д.), чтобы понять, как происходит



«отстранение от себя» и «управление отношениями»: при общении друг с другом, при принятии решений, при управлении стрессами и конфликтами, а также как оценивается и осмысляется опыт супружеской жизни обоими партнерами в семье. Это делается для того, чтобы определить динамику отношений на различных этапах жизни супругов.

Методология исследования

В ходе двух исследований было проведено два этапа глубинных интервью с молодыми семьями, состоявшими в браке от 1 до 5 лет на момент проведения первого интервью. В выборку вошли пары, различающиеся по степени религиозности, наличию детей, проживающие в Москве или Московской области. Разрыв между первым и вторым интервью составляет 1–2 года с учетом опыта пандемии 2020 года. Для поиска респондентов использовался метод «снежного кома». Перед проведением интервью респонденты были проинформированы о целях и задачах исследования.

С помощью метода кейс-стади [Yin, 1992; Козина, 1995] было проанализировано 8 интервью (4 — в первую волну, 4 — во вторую) с двумя молодыми семьями, чтобы понять, какую роль играют «отношенческая» и «автономная» рефлексивности при принятии решений, в управлении стрессами и конфликтами, при оценке семейных отношений в разные этапы совместной жизни пары и каким образом они могут влиять на их качество. Метод кейс-стади был выбран для того, чтобы выявить общие тенденции в жизни молодых пар и на примере двух случаев попытаться представить какими могут быть глубинные процессы в жизни семьи [Козина, 1995: 66]. Анализ качественных данных проводился в логике обоснованной теории с помощью типа осевого кодирования [Страусс, Корбин, 2001; Забаев, 2011].

Также важно отметить разницу в структуре гайдов первого и второго интервью. Первые интервью включали вопросы о личной биографии, о родительской семье, об образовании, о начале отношений и супружеской жизни, об отношении к браку и разводу, о мировоззрении. Вторые интервью содержали вопросы о текущей жизни респондентов (в том числе о финансовых аспектах), о событиях, произошедших в их жизни между двумя интервью, об их оценке своей семейной жизни.

Мы начнем с анализа первых интервью: что тогда было важно в отношениях, как супруги относились к браку, как преодолевались трудности. И завершим анализом вторых интервью, в которых особое значение уделяется произошедшим изменениям в жизни семьи, оценке отношений супругами, а также рассмотрим сюжеты разрешения кризисных и конфликтных ситуаций.

¹ Полученные данные были собраны при реализации двух проектов: «Как создаются и живут молодые семьи в современной России? Сравнение семей мирян и священников 2018–2021» и «Осознание жизни в браке молодыми супругами. Разработка категорий общения, взаимности, совместности 2021–2023» (при поддержке ПСТГУ и Фонда «Живая традиция»).

Контекст интервью

Сходство обеих пар заключается в том, что на момент первых интервью они имели похожие жизненные траектории: достаточно мобильны, за время семейной жизни два раза переезжали в другие города. Также к сходствам можно отнести трудности, связанные с работой, упоминавшиеся и в первом, и во втором интервью: смена работы в период пандемии случилась в обеих семьях. Существенным различием во время первых интервью для первой семьи является этап сожительства, который был до брака и стал определяющим, а в дальнейшем привел к переезду в Москву. Члены второй семьи стали жить вместе после свадьбы. Для второй семьи следующим этапом совместной жизни был переезд из малого города на Север, а далее — переезд супруги в Москву вместе с мужем. Первый переезд был связан с получением образования. На момент первых интервью супругам в обеих парах по 24–25 лет.

На момент вторых интервью первая пара жила в Москве уже больше трех лет, муж испытывал трудности с работой, но во время пандемии решил этот вопрос и устроился на высокооплачиваемую должность, были планы на будущее (покупка жилья, планирование детей). В то время как вторая пара уже распалась: каждый жил по отдельности, шел бракоразводный процесс. Между первыми и вторым интервью в их жизни произошли трудности, связанные с работой, а также финансовые разногласия. На момент вторых интервью супругам в обеих парах было по 26–27 лет.

В повторных интервью мужья и жены в обеих парах рассказали о смене работы, о значении этого опыта для их супружеской жизни. Например, в первой паре, когда муж сменил работу и доход семьи вырос в два раза, это облегчило жизнь супругов в материальном плане: они смогли начать делать сбережения и меньше беспокоиться о финансах. Во второй паре за два года и муж, и жена сменили работу по два раза в период пандемии, в это же время оформили ипотеку. Несмотря на то что их доход тоже увеличился, они столкнулись с финансовыми сложностями, которые стали поводом для разногласий. Характеристики информантов и ключевые жизненные события представлены ниже в таблице 1 и в таблице 2.



Характеристики информантов

9		Первое интері	интервью	Второе интервью	нтервью	Образо-	N		Материальное
пары	1 90	Возраст	Стаж в браке	Возраст	Стаж в браке	вание / профессия	рождения	Опыт переездов	благосостояние семьи
-	Σ	24	11 меся-	27	3 года	Среднее	Сельская	Учеба в городе (500+ тыс. чел.)	Среднее
			нев			специаль- ное / про-	местность	После свадьбы — в Москву	
						граммист			
	¥	24	11 меся-	27	3 года	Высшее /	Сельская	Учеба в городе (500+ тыс. чел.)	
			gəh			экскурсо- вод	местность	После свадьбы — в Москву	
2	Σ	24	1,5 года	26	3 года	Высшее /	Город,	Учеба в городе (500+тыс. человек)	Среднее
						инженер- электрик	нас. свыше 100 тыс. че- ловек	После свадьбы переехали: сначала— в родной город супруга; затем— в Москву	
	¥	25	1,5 года	27	3 года	Высшее /	Город,	Училась в Москве	
						геодезист	нас. свыше 100 тыс. че- ловек	После свадьбы переехали: сначала— в родной город супруга; затем— в Москву	

Ключевые события

Вторая семья (развелись) Первая семья (не развелись) Первое интервью, 2019 • 3 года жили до брака • До брака не жили вместе. • Супруга ждала мужа из армии, потом по-• После свадьбы муж ушел в армию • После армии переехали в родной город женились • Трудности с финансами в большом горосупруга. У жены были трудности с труде, помогали родители. Свадьба, переезд доустройством, муж помогал с поиском работы, поддерживал в Москву • Проблемы с трудоустройством у мужа, • Жена не смогла устроиться на работу, пеподдержка жены (оплатила учебу мужу) реехала в Москву. Муж уволился, поехал • Муж устроился на работу к ней в Москву. • Оба сразу нашли работу Второе интервью, 2021 • Во время пандемии оба сменили работу • Муж сменил работу • Вырос уровень благосостояния • У жены большая нагрузка на работе • Появились совместные увлечения, хобби • Начались ссоры • Есть планы на будущее (покупка недви-• Оба второй раз сменили работу жимости, рождение детей и т. д.) • Нет общих интересов • Общий круг общения • Разный круг общения В 2020 взяли ипотеку • Отношения на стадии развода

Результаты исследования: проявление «отношенческой рефлексивности» и «автономной рефлексивности»

Анализ первых интервью

По результатам анализа были выделены «общие точки» — ситуации, в которых проявляются разные типы рефлексивности — «отношенческая» и «автономная».

Общение и принятие решений

То, как функционируют пары в различных повседневных ситуациях, может говорить о степени рефлексивности партнеров. Так, например, умение общаться друг с другом, слышать и поддерживать партнера, принимать совместные решения, по мнению социологов-фамилистов [Донати, 2016; Moscatelli et al., 2021], может конструировать «отношенческую рефлексивность» и способствовать благополучию брака. Логично предположить, что индивидуальные решения, отсутствие поддержки и диалога в семье могут привести к разногласиям.

В качестве одной из субкатегорий в категории «общение и принятие решений» можно выделить «общее дело». В первых интервью обе пары считают, что для совместной жизни важно, чтобы было общее дело, потому что



это укрепляет брак и делает его устойчивым. В нашем случае общее дело, на начальном этапе совместной жизни было связано с переездом и профессиональной реализацией супругов. Обсуждение вопросов трудоустройства, решения о переезде в другой город давались семьям нелегко, однако то, что они принимались совместно, создавало ощущение «общности», которое по-разному понималось в парах. Стратегии поведения супругов зависели от предлагаемых условий, в которых они находились.

Переезд в первой паре не вызывал резкой и негативной реакции, потому что подобный опыт у семьи уже был, для второй пары это был первый опыт переезда в город с населением 40 тыс. человек. Второй переезд состоялся через четыре месяца, сразу в мегаполис. Что касается карьерных траекторий, для обеих пар было важно найти такую работу, чтобы она соответствовала следующим критериям: «была хорошо оплачиваемой» и «приносила удовольствие». По мнению респондентов, это могло бы способствовать адаптации не только к семейной жизни, но и к переезду.

«Мы приехали в N, думали, что все получится в плане работы, а так как у жены был красный диплом, я думал, она будет получать огромные деньги. Она хотела только в крупную компанию и никуда больше <...>» (пара 2, интервью 1, муж).

Для первой пары это второй опыт совместных трудностей, связанный с переездом и поиском работы, в связи с чем возникло предположение, что действия жены ориентированы на семью, и она понимает потребности своего мужа. Несмотря на то, что с его стороны есть опасения, муж все равно говорит о переживаниях по поводу совместного дела: «вдруг мы ничего не найдем», «мы можем вернуться обратно», когда он говорит «мы», то это может свидетельствовать о наличии «отношенческой рефлексивности», как и в случае с переживаниями жены по поводу работы супруга.

«У мужа не получилось сразу устроиться, куда он хотел. Он сначала проводил интернеты почти полгода, и вот уже в конце апреля я его мотивировала, чтобы он наконец уволился, потому что мы не ради этого переезжали, чтобы он работал точно там же. Он уволился, после этого нашел стажировку, на программиста. Он ее прошел. И он сейчас там же остался работать. Программистом, именно то, к чему и стремились. Ему это очень нравится, и я безумно рада за него, что он нашел то, к чему мы так долго шли» (пара 1, интервью 1, жена).

«Дальше переезд (в Москву). Инициатором была жена. Я как обычно — а как там? Что? У нас были деньги на первое время, но все равно, вдруг мы ничего не найдем, меня пугало, что мы можем вернуться обратно» (пара 1, интервью 1, муж).

Для второй пары начало семейной жизни началось с переезда в родной город супруга, в котором живут его родители. Если у мужа трудностей с адаптацией не возникло, то жена постоянно сталкивалась с этой проблемой. Это было связано с ее трудоустройством, отношением к месту, отсутствием социальных связей, что негативно влияло на ее состояние, на отношения внутри пары. Чтобы избежать отрицательных последствий, семья приняла решение о новом переезде — в Москву, город, в котором у нее налажен круг общения, где ей комфортно и понятно. Однако трудности возникли у мужа, у которого в этом городе не сформирован круг общения, как он говорит, «ее друзья — мои друзья». Тем не менее проблем с трудоустройством не было, каждый нашел возможности реализовать свой профессиональный потенциал. Сложно утверждать, что действия супругов были направлены на «Мы-отношения», поскольку решения принимались каждым индивидуально, с ориентацией на себя.

«<...> Я работал <...> получал где-то 55 тысяч, для меня это было нормально <...>. Она четыре месяца сидела без работы, потому что мы искали ей работу <...>. И вот жена идет устраиваться и приходит документы подписывать не охранницей, а уборщицей <...>. Если бы мне такое сказали, я бы, может, и согласился, потому что я мужчина, но я вижу, что она слаба к этим ситуациям, она не воспринимает их, просто начинает паниковать и что делать — не знает <...>. Я такой — я тебя понял, я выключил телефон, пошел к начальнику, уволился. Прихожу домой, говорю ей, маме, отцу: "Мы уезжаем"» (пара 2, интервью 1, муж).

«<...> Было очень тяжело, у меня нет друзей, нет знакомых, в принципе никого, кроме его семьи и его. Плюс у меня не получалось с работой, потому что <...> я не с Севера, нет там прописки, прочего. Пока сделали регистрацию, пока начали решать с работой, я передумала, угасла. Вот, потом мы решили переехать в Москву, я отношу к хорошим событиям. Так как я буквально сразу нашла работу, плюс большинство моих друзей здесь живет, тут больше поддержки и прочего. Он не возражал, он был только за. Потому что понял, что, Север — это дыра. Изза детских воспоминаний он по-другому смотрел» (пара 2, интервью 1, жена).

Если первый переезд был инициативой мужа, то второй переезд — инициатива жены. Во втором случае жена смогла устроить их жизнь, решить проблемы, с которыми она столкнулась при первом переезде, но они стали актуальными для супруга (отсутствие друзей и социальных связей).

«У меня в Москве нет друзей, только ее друзья <...>. Без знакомых, друзей, родственников тяжело одному. Я всегда один, даже когда ночью приезжаю, какое-то одиночество присутствует. Жене комфортно.



Мне все равно, даже если у меня здесь никого нет, главное, чтобы ей было хорошо. Когда я вижу, что ей хорошо, мне приятно. Я считаю, что я сильный духом человек и могу какие-то жизненные обстоятельства пройти сам» (пара 2, интервью 1, муж).

Описанные выше ситуации иллюстрируют как проявление «отношенческой рефлексивности», так и «автономной рефлексивности». Жена и муж в первой паре и муж во второй паре представляли себя на месте своих партнеров и принимали решения в вопросах переезда, отстраняясь от себя и пытаясь понять потребности другого, что укрепляло отношения. Построение планов на будущее и адаптацию к жизни в большом городе (поиск работы, поиск жилья) можно считать положительным исходом для обеих пар. Однако при принятии решений обнаруживается и «автономная рефлексивность», когда некоторые действия предпринимаются сугубо индивидуально, тем не менее на этапе первых интервью это не мешало развитию пары.

Управление стрессорами, кризисами и конфликтами

По мнению респондентов, ссоры и конфликты в первый год брака обычно происходят на бытовом уровне: при обсуждении спорных вопросов, во время общения. Также все респонденты говорят об отсутствии понимания позиции друг друга, что негативно сказывается на семейных отношениях. Чтобы избежать ссор и конфликтов, участники интервью прибегают к стратегиям перемирия — просят друг у друга прощения, договариваются, «обнимаются», ждут, когда один успокоится. К таким стратегиям поведения пары прибегают для того, чтобы не ставить под угрозу личное и семейное благополучие, а стараются урегулировать возникающие вопросы. То, каким образом супруги из обеих пар реагируют на ссоры и конфликты, говорит об управлении отношениями и наличии рефлексивности.

Для мужа из первой пары, чтобы управлять стрессами и конфликтами, важно общаться, пытаться найти причину разногласий. В то время как жена подробнее описывает «механику» примирения: приходит извиняться, начинает разговор после разногласий тот из супругов, кто первый успокоится.

«Поворчали, походили, она весь день обижалась, потом куда-то вместе пошли, поговорили и помирились. У нас нет такого, чтобы куда-то уходить и зло держать друг на друга. Проще обсудить, что не устраивает, и помириться» (пара 1, интервью 1, муж).

Респондент: В нашей семье было принято так, что тот, кто первый успокаивался, тот приходит извиняться. У нас нет такого, что я виноват и я пришел, у нас приходит тот, кто первым успокоился.

Интервьюер: Кто чаще первым успокаивается?

Респондент: По-разному. Раньше психовала больше я, когда мы съехались. Из-за мелочей. По поводу того, что он, там, посуду не помыл. А сейчас это бывает редко, у нас бытовые ссоры, глупости такие. Миримся быстро очень, буквально за полчаса кто-то один приходит просить прощения (пара 1, интервью 1, жена).

Во второй семье супруги отмечают, что поводом для разногласий служит адаптация, объясняют, что это связано с привыканием друг к другу, с узнаванием привычек поведения и их принятием. Жене, чтобы управлять конфликтами и ориентироваться на «Мы-отношения», «лояльнее» относиться друг к другу, понадобилось время. Муж, наоборот, считает, что спорные ситуации не решаются, поскольку каждый отстаивает свои границы, и это говорит о наличии «автономной рефлексивности». Чтобы избежать подобных разногласий, по мнению мужа, супруги прибегали «к обсуждениям» и «долгим разговорам».

«Смотря что еще считать ссорой, если именно орать друг на друга, это вообще совершенно редко происходит, так, ну, может, раз в месяц, может, меньше <...>. Если там что-то не поделили, то да, это каждый день <...>. Мы еще ближе друг друга узнали, в принципе. Ну как бы объяснить. Лояльнее начали, наверное, к друг другу, относиться. То есть раньше из-за какой-то фигни <...> там, мелочи, могли ругаться, прямо аж искры сыпались. Сейчас уже мы спокойно можем урегулировать большинство вопросов» (пара 2, интервью 1, жена).

«Мы раньше не ссорились вообще, до свадьбы, чуть после свадьбы, когда начали вместе жить, притираться друг к другу <...>. Какие-то ссоры, неполадки в отношениях. Начали замечать друг у друга какие-то черты, которых раньше не было, какие-то привычки. Надо общаться, разговаривать. Бывают, но я не скажу, что ссоры, серьезные разговоры у нас с ней <...> мы разговариваем по три часа. Были моменты, ей чтото не понравится, у нее слезы, и я начинаю с ней разговаривать, и никто на уступки не идет, потому что никто не понимает. Она не понимает, я не понимаю, что, что я должен сделать? Она считает, что я не прав, я тоже считаю, что она не права» (пара 2, интервью 1, муж).

По большей части эта категория иллюстрирует не только как пары относятся к кризисам и конфликтами, но и как они стараются регулировать ссоры на бытовом уровне. Сами респонденты объясняют их как «мелкие ссоры», однако то, как они на них реагируют и осознают каждую ситуацию, может говорить о наличии разных типов рефлексивности, преимущественно «отношенческой рефлексивности» и желании прийти к перемирию.

Оценка отношений в паре

Для построения идентичности пары также важно, как супруги оценивают свои семейные отношения в целом. После первых интервью обе пары дали положительную оценку своим отношениям. По мнению жены из первой пары, когда они вместе переехали в Москву, то обрели определенные *отношенческие*



навыки, помогающие их отношениям быть устойчивыми к трудностям семейной жизни. На вопросы «Удовлетворен(а) ли Вы своей жизнью?» и «Гордитесь ли Вы своей семьей?» супруги в первую очередь отвечали, обсуждая отношения в паре, личные качества, которые им нравятся в партнере и как они влияют на их совместную жизнь.

«Я горжусь конкретно тем, что мы хорошо общаемся, умеем понимать друг друга, умеем поддержать в любой момент <...>. Я горжусь тем, что мы смогли переехать в Москву, не побоялись переехать за своей мечтой. Это было действительно страшно, вроде кажется, ладно, переехали и переехали, но мы потратили все средства, чтобы найти квартиру, чтобы обустроиться. Очень много душевных сил на это требовалось» (пара 1, интервью 1, жена).

«<...> Как у нас отношения развиваются, мы друг другу доверяем, нет сплетен, не ворчим, не унижаем друг друга, всегда поддержка. Если что-то не получается, надо успокоить, поговорить, послушать, когда что-то на работе не получается» (пара 1, интервью 1, муж).

Во второй паре логика в нарративах супругов была выстроена несколько иначе. Жена связывает удовлетворенность браком с везением. По ее мнению, то, о чем они думают чаще всего, происходит на самом деле, и это положительно сказывается на их отношениях. В то же время ее муж не делает акцента на удовлетворенности и оценке отношений, а размышляет над вызовами, которые стоят перед ним лично, что не позволяет сделать обобщение в отношенческой перспективе, но говорит о наличии «автономной рефлексивности».

«Я считаю, что мне повезло <...>. Ну, потому что, все так, по больше части складывается <...> не то, чтобы я хочу, мы что-то вместе задумываем, и вместе у нас это получается. Если мы вместе что-то хотим, мы это делаем. <...> Ну, допустим, бывают ситуации, прямо ничего в жизни не происходит, что мы хотим. Вот какие-то нужные эмоции либо там какой-то толчок для того, чтобы что-то произошло. Либо что-то положительное, например, ну, в финансовом плане, резко начинает все налаживаться, когда ты это прямо хочешь, ждешь, и оно происходит. Думаем обычно купить какую-нибудь технику или что-нибудь сделать. Это у нас всегда получается, и получается не просто потому что что-то делаем, просто потому что нам везет, гдето мы что-то услышали, там что-то произошло, все так совпало и получилось» (пара 2, интервью 1, жена).

«Да, мне нравится, как я живу, я знаю, чего я хочу, и пока к этому все стремится. Если бы я стоял на месте, я бы сказал "не нравится". А так у нас все получается» (пара 2, интервью 1, муж).

Обе пары оценивают свои отношения положительно и говорят о ценности брака, однако в первой паре акцент делается на личных качествах обоих супругов, в то время как во второй суждения выстроены на основе индивидуальных ощущений, в которых «Мы-отношения» упоминаются лишь эпизодически.

Динамика отношений: анализ вторых интервью

Как же устроена жизнь молодых семей спустя пару лет, как происходит общение и принимаются решения? Как преодолеваются конфликты и кризисы? Важно понимать, что на момент проведения вторых интервью обе пары были в браке больше трех лет, все это время продолжали жить в городе с населением свыше 1 млн человек, в обеих парах были трудности с работой. Однако если первая пара фиксирует изменения в положительную сторону — это связано с новой работой супруга, увеличением дохода, изменением круга общения, то у второй парой пары отношения изменились в обратную сторону: во время пандемии произошли разные трудности, на момент вторых интервью пара находилась в процессе развода, а беседа с женой состоялась лишь спустя полгода после интервью с мужем. Поэтому при анализе важно учитывать эмоциональную напряженность в нарративах респондентов из второй пары, а также то, как они оценивают свои семейные отношения в прошлом времени.

Общение и принятие решений

Если возвращаться к первым интервью, то профессиональная траектория также осталась в приоритете для обеих пар, однако решение о смене работы, а также опыт изоляции в пандемию изменили отношения супругов. Адаптация к реальности пандемии, внешние ограничения и финансовые трудности спровоцировали ряд проблем, которые было сложно решить второй семье. Как уже было отмечено, обе пары искали новую работу в период пандемии. Отличие в том, что в первой паре искал работу только муж, а во второй паре оба супруга искали работы, чтобы увеличить уровень благосостояния. В обеих парах изменился круг общения. Для первой пары это новые коллеги мужа, коллеги жены и семейные пары друзей. Как отмечают сами супруги, «мы стали более социальными». В то время как у второй пары в круг общения добавились коллеги жены, у мужа также были трудности с социализацией. Если говорить об осмыслении семейной жизни, то супруги из первой пары рефлексируют по поводу отношений и изменений в целом, а супруги из второй пары фокусируют свое внимание на том, что стало причиной развода (это в целом логично, так как они разводятся).

Если говорить о социальных связях, то супруги из первой пары считают, что увеличение социальных контактов сделало их более социальными, они стали общаться семьями. По их мнению, это положительно сказывается на их отношениях.



«Стало много людей, с которыми хочется действительно встретиться, посидеть пообщаться, более социальными, скажем так, стали» (пара 1, интервью 2, жена).

Вторая пара иначе воспринимает смену работы: оба супруга отмечают больше стресса и конфликтов внутри семьи из-за недостатка внимания, общения и поддержки, потому что работа сместила значимость семейной жизни. По мнению супругов, принимать совместные решения мешал индивидуализм каждого, это свидетельствует о наличии «автономной рефлексивности», невозможность отстраниться от себя и своих проблем и переключиться на семью. В последующем, это привело к разводу.

«Причиной развода стало то, что при смене обстановки, локации, работы, знакомых и так далее именно в этот момент ей нужна была моя поддержка, а я эту поддержку не давал, потому что я только думал о себе. Ей нужно было внимание, а я не давал ей должного внимания» (пара 2, интервью 2, муж).

«И, если я начинала жаловаться, вот, мне тяжело, так как у меня работа секретная <...>, я очень сильно нервничала, я осталась одна, мой руководитель заболел коронавирусом и все проекты легли на меня <...>. Слишком большая ответственность, вот это все, короче, я почти не ела, я только работала <...>, потому что, если я жаловалась на свою работу, говорила, как мне тяжело, то он мне говорил: "Я вообще только устроился, ничего не понимаю, мне все плохо там" <...>. Ну вот, у меня вообще не было сил, потому что я работала, очень много работала. Где-то, наверное, точно помню, что дней сорок у меня выходило подряд без выходных» (пара 2, интервью 2, жена).

Решение о смене работы, обретение социальных связей по-разному отразились на каждой паре. Первая пара укрепила свои отношения за счет общения с другими людьми, увеличения уровня благосостояния после смены работы; пандемия не сильно изменила ее уклад жизни, оба работали удаленно. Во второй паре оба супруга во время пандемии сменили работу и взяли ипотеку, таким образом создав напряжение в отношениях, поскольку оба супруга работали над тем, чтобы увеличить уровень благосостояния. Первая пара только намеревается взять ипотеку. Можно предположить, что оба решения для второй пары негативно отразились на семейной жизни.

Управление стрессорами, кризисами и конфликтами

Прежде чем перейти к рассмотрению взаимодействия пар в кризисных ситуациях, следует оговорить, что мы сопоставляем оценки супругами как самих конфликтов, так и реакций друг друга, а не сами жизненные ситуации, поскольку у первой пары отношения сохраняются, а вторая пара распалась.

Если первые интервью анализировались с точки зрения повседневных конфликтов, то в повторных интервью респонденты делают акцент на внешних факторах, которые создают трудности в семейной жизни.

Первая пара в вопросах регулирования кризисов и конфликтов, вызванных внешними обстоятельствами, говорит о моральной поддержке, которую важно оказывать в отношениях. Приводя примеры из личной жизни, супруги особое значение придают категории «поддержка и внимание», что положительно влияет на семейные отношения. Благодаря направленности на другого и желанию помочь ему в трудной ситуации стратегии поведения супругов можно считать проявлением «отношенческой рефлексивности».

«У жены застряли две посылки на почте. Она такая: "Вот у меня не пришли [посылки], дурацкая почта, срок защиты закончился, и покупатель начал писать". Я всегда старался поддержать, мол, все хорошо, может потерялась, давай подождем, напиши, пытаюсь как-то помочь урегулировать ситуацию. Когда я расстраиваюсь, она мне тоже — бывает, нахлынет что-нибудь "я ничего не умею, ничего не получается", особенно когда на работе заколебался, какую-то задачу думаешь-думаешь, голову ломаешь и приходишь домой весь поникший, — она тоже пытается поддержать всегда: "Ты умный, ты молодец!"» (пара 1, интервью 2, муж).

«Я пытаюсь с ним иногда говорить. Но, как и за собой, я заметила, что если у тебя плохое настроение, то тебе нужно самому это более-менее пережить, успокоиться, скажем так. Я пытаюсь как-то развеселить чуть-чуть, сгладить вот этот неприятный момент, что у него там что-то случилось [на работе], типа "не обращай внимания на дураков" или что-нибудь такое, типа "дай обниму". Ну, чтобы настроение хоть чуть-чуть улучшить» (пара 1, интервью 2, жена).

Во второй паре регулирование кризисов и конфликтов привело к завершению отношений, а именно — к разводу. Ситуации, при которых возникали ссоры, по мнению респондентов, никем не управлялись. Супруги только усугубляли напряжение в семейных отношениях отсутствием диалога и взаимными упреками. По мнению мужа, избежать развода можно было бы с помощью регулирования общения, обсуждения личных и рабочих проблем друг с другом, чтобы решать сложные вопросы сообща. Также усугубили ситуацию, по мнению жены, отсутствие поддержки и безучастное отношение к жизни друг друга.

«Да, у нас были всегда ругани о том, что почему ты не хочешь встать на мою сторону. Я хочу услышать от тебя: "Все будет нормально, не переживай". То есть хотел услышать главные слова, но слышал только одно, что "ну, ты же сам нарываешься, ну, ты же это". Не знаю. Я подумал, что, ну, наверное, она так поддерживает» (пара 2, интервью 2, муж).



Интервьюер: А как ты думаешь, вот, если бы была эта поддержка, это помогло бы браку вашему?

Респондент: Я думаю, что да, возможно, но никто не стал ее, во-первых, оказывать, и как-то по инерции просто шло» (пара 2, интервью 2, жена).

«И я за все эти годы понял вот что: как только начинается какаято проблема с ее стороны, вообще со стороны партнера, да, лучше быть всегда за него. Если ты против него, ожидай, что в процессе это будет нагнетаться все хуже и хуже, вот поэтому лучше всегда разговаривать, какое-то если есть недопонимание, всегда лучше говорить друг другу, не молчать <...>» (пара 2, интервью 2, муж).

Таким образом, для первой пары реагирование на кризисы и конфликты, возникающие во внешнем мире, и проявление внимания друг к другу свидетельствуют о наличии «отношенческой рефлексивности». Во второй же паре отсутствие регулирования конфликтов и внимания к кризисам привело к проявлению «автономной рефлексивности», так как каждый занимался своими личным благополучием и сконцентрировался на себе, что негативно отразилось на семейных отношениях.

Оценка отношений в паре

Оценка отношений в первой паре определяется супругами через восприятие их ролей и общее ощущение от семейной жизни. Супруги описывают его как состояние удовлетворенности, которое возникает при сравнении своей семейной жизни с другими людьми, а также при оценке личных качеств супруга.

«Я не чувствую никогда, что мне что-то не нравится в жизни с ней. Нет такого ощущения, что хочется что-то поменять в отношениях, я знаю, что это мой человек и мне с ней очень комфортно. Я всегда хочу приходить домой. Прямо ловишь себя на мысли, что тебе хочется идти домой после работы, как-то хорошо, приятно на душе. Знаешь, что тебя ждут там, обнимут» (пара 1, интервью 2, муж).

«У меня обычно бывает такое: "Как хорошо, что у нас такие крутые отношения". И это у меня обычно случается на фоне того, что я сравниваю наши отношения с другими людьми, скажем так. Если я вижу, что у них какие-то там недомолвки, что они не могут решить какието свои вопросы, и я понимаю, что в этом плане у нас дома мы очень открыто обо всем говорим и все обсуждаем. И я такая: "Как хорошо, что у нас такая семья"» (пара 1, интервью 2, жена).

Вторая семья оценивает свои отношения как неудачные из-за неудовлетворенности семейной жизнью и отсутствия поддержки, которую партнеры

не могли оказывать друг другу, потому что мешал индивидуализм. Супруги объясняют это «зацикленностью на себе». То, каким образом они реагировали на внешние обстоятельства при общении и регулировании конфликтов, повлияло на их отношения, а ситуация развода лишь усугубила положение дел. Профессиональная самореализация имела значение для жены в большей степени, чем для мужа, а о проблемах в отношениях больше рассуждал муж, чем жена.

«Там была хорошая очень должность, да, там и рост был, и, в принципе, и перспективы были <...>. Почему я ушла, потому что я знала, что я три-четыре месяца отработаю на новом месте, буду зарабатывать больше <...>. Мне предложили новую работу, он был против, чтобы я уходила, потому что все равно на испыталке же какие-то гроши получаешь» (пара 2, интервью 2, жена).

«Мы были слишком зациклены на себе, да, и не рассказывали друг другу о самом важном, вот, и закрывались, а как я понимаю, если человек один закрывается, второй уже от этого начинает страдать» (пара 2, интервью 2, муж).

Сравнивая первые и вторые интервью в обеих парах и то, как оценивают свою жизнь супруги, можно сказать, что первая пара меньше сталкивается с трудностями и по-другому реагирует на проблемные ситуации, оба супруга работают на отношения и пытаются занять позицию другого. В то время как во второй паре на этапе первых и вторых интервью супруги прибегали больше к «автономной рефлексивности» при принятии решений на всех этапах семейной жизни, что негативно отразилось на будущем пары и привело к кризису семейных отношений.

Заключение

С помощью полученных данных мы попытались провести различение между двумя типами рефлексивности и показать, что «отношенческая рефлексивность» благодаря направленности на другого положительно влияет на семейные отношения, в то время как «автономная рефлексивность», наоборот, способна приводить к кризисам в семье из-за излишнего индивидуализма. Таким образом, в семейных отношениях можно увидеть оба типа рефлексивности и определить стратегии поведения пары, то, как она функционирует в различных повседневных ситуациях, определяющих ее идентичность: во время общения и при принятии решений, управляя стрессорами, кризисами и конфликтами и при оценке отношений в паре. На примере анализа двух семей в разные периоды совместной жизни супругов нам удалось выявить некоторую динамику отношений.



Общение и принятие решений

В нашем случае имеющиеся данные позволяют предположить, что возникновению «отношенческой рефлексивности» способствует качественное общение: когда учитывается мнение мужа или жены, решение по различным вопросами принимается открыто и обсуждается с супругом(ой).

Если сравнивать эту категорию в первой и второй паре, то в первом интервью в обеих парах общение играет существенную роль в жизни каждой семьи и способствует созданию идентичности пары. Во втором интервью супруги из первой пары продолжают выражать таким образом поддержку друг другу, делясь переживаниями и радостями, чему также способствует расширение круга общения, по мнению респондентов. В то время как во второй паре после возникших трудностей, связанных с балансом между работой и семейной жизнью, респонденты фиксируют отсутствие поддержки и внимания по отношению друг к другу, что говорит о наличие «автономной рефлексивности», которая привела к разладу в семье и прекращению отношений.

Управление стрессорами, кризисами и конфликтами

То, как пары реагируют на стрессы, как сталкиваются с трудностями, влияет на их личное и семейное благополучие. Управление данными ситуациями совместно объясняется как *поддержка и внимание*, которая способствует построению «отношенческой рефлексивности». Если же конфликты и стрессовые ситуации разрешаются каждым по отдельности, то это свидетельствует об «автономной рефлексивности», которая может привести к разладу в семье и усугубить разногласия.

В первых интервью этот индикатор в большей степени иллюстрирует то, что обе пары критически относятся к кризисам и конфликтами, возникающим на повседневном и бытовом уровне. Сами респонденты объясняют их как «мелкие ссоры», однако то, как они на них реагируют и как рефлексируют по поводу каждой ситуации, может говорить о наличии рефлексивности и желании прийти к перемирию, что важно для благополучия каждой пары. Описываемые во вторых интервью ситуации кризиса чаще возникают в связи с работой и финансовыми трудностями, а также касаются вопросов самореализации. Супруги из первой пары продолжают поддерживать друг друга в кризисных ситуациях. Жена и муж во второй паре также реагируют на кризисы, но чаще каждый принимает решения по важным вопросам автономно, не учитывая мнение партнера, что в последующем сказывается на их семейном благополучии.

Оценка отношений в паре

Данная категория показывает общую степень удовлетворенности отношениями, оценку партнерами своей семейной жизни. Первая пара повторяет суждения, проговоренные в первом и втором интервью, и делает акцент на удовлетворенности отношениями и нежелании что-либо менять. Во второй паре в первом интервью жена фиксирует везение мужа как индикатор качества отношений, а муж больше сконцентрирован на личных вызовах.

Вторые интервью с ними проходят уже на этапе развода, и каждый оценивает отношения в ретроспективе, полагая, что «зацикленность на себе» и излишний индивидуализм привели к распаду семьи.

Таким образом, можно предположить, что внимание к внешним факторам может повлиять на то, как молодые пары будут справляться с семейными трудностями, и как они будут управлять отношениями в будущем. Не только «отсутствие сил» и взаимная неустроенность привели к кризису во второй семье. Проблемы в отношениях возникали при регулировании стрессов и конфликтов, а также на уровне общения и принятия решений в обеих семьях. Однако это не означает, что отсутствие потрясений и стабильность первой пары равнозначны тому, что их брак будет «крепким» и не приведет к разрыву. Мы можем лишь сказать, что супруги в первой паре иначе управляют своими отношениями и работают с напряжениями, которые возникают в семейной жизни. Вторая пара уже имела опыт ипотеки, были финансовые разногласия, а кризис с работой и переустройство семейной жизни в период пандемии лишь усугубили ситуацию. Первая пара только готовится к этим событиям (в планах купить квартиру, родить детей). Но, возможно, проблема заключается в культурных предпосылках, характерах партнеров и их самоопределении. Однако это другая тема, заслуживающая отдельного внимания и отдельной публикации.

Литература

Бонкало Т.И., Маринова Т.Ю., Феоктистова С.В., Шмелева С.В. Диадические копинг-стратегии супругов как фактор латентных дисфункциональных отношений в семье: опыт эмпирического исследования в условиях пандемии // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11. № 3. С. 35–50. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110303 EDN: CCZXFA

Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. СПб.: Питер, 2004.

Голева М. А. Как молодые люди осмысляют вступление в брак? Истории о знакомстве и свадьбе в интервью молодых супругов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 5. С. 186–203. DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.1646 EDN: CFKWEO

Долбик-Воробей Т.А. Студенческая молодежь о проблемах брака и рождаемости // Социологические исследования. 2003. № 11. С. 78–83. EDN: HSSRIL

Донати П. Реляционная теория общества: Социальная жизнь с точки зрения критического реализма. М.: Издательство ПСТГУ, 2019.

Забаев И.В. Логика анализа данных в обоснованной теории (grounded theory): Версия Б. Глезера // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология: 4M). 2011. № 32. С. 124–142. DOI: https://doi.org/10.19181/4m.2021.52.5 EDN: OJILPH

Козина И. М. Особенности применения стратегии «исследования случая» (case study) при изучении производственных отношений на промышленном предприятии // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология: 4M). 1995. № 5–6. С. 65–90. EDN: PFTWIF

Лагойда Н. Г. Проблема стабильности брака и роста числа разводов в современном обществе // Вестник Бурятского государственного университета. 2017. № 2. С. 86–96. DOI: https://doi.org/10.18101/1994-0866-2017-2-86-96 EDN: YHEFDL



Любинарская Н. А. Религиозность и мета-рефлексивность как взаимосвязанные факторы, влияющие на устойчивость отношений. // Социология религии в обществе позднего модерна. Сборник статей по материалам IX научной конференции. 2020. Т. 9. С. 184–189. EDN: RERFLY

Павлюткин И.В. Как возникает общность в браке: логика взаимности в нарративах жен из многодетных семей // Экономическая социология. 2021. Т. 22. № 4. С. 11–34. DOI: https://doi.org/10.17323/1726-3247-2021-4-11-34 EDN: PHQCRM

Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / Пер. с англ. Т.С. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 81–97.

Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные предписания и практики в современной России // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2010. № 3. С. 19–43. EDN: UEREOZ

Bahr H., Bahr K. Families and Self-Sacrifice: Alternative Models and Meanings for Family Theory // Social Forces. 2001. Vol. 79. № 4. P. 1231–1258. DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sof.2001.0030

Beck U., Beck-Gernsheim E. The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press, 1995. DOI: https://doi.org/10.2307/2076615

Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press, 1994. DOI: https://doi.org/10.2307/3341775

Berger P., Kellner H. Marriage, and the Construction of Reality: an Exercise in the Microsociology of Knowledge // SAGE. 1964. P. 5–11. DOI: https://doi.org/10.1177/039219216401204601

Coontz S. Marriage, a History: How Love Conquered Marriage. London: Penguin books, 2005. Donati P. Which Engagement? The Couple's Life as a Matter of Relational Reflexivity // Anthropotes. 2014. Vol. 30. № 1. P. 217–250.

Donati P., Archer M. Relational Subject. Cambridge: University Press, 2015. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9781316226780

Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford: Stanford University Press, 1992. DOI: https://doi.org/10.2307/2075988

Illouz E. Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help. Berkeley: UC Press, Ltd., 2008. DOI: https://doi.org/10.1525/CALIFORNIA%2F9780520224469.001.0001

Illouz E. Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Malden: Polity Press, 2012.

Moscatelli M., Ferrari C., Parise M., Serrano C., Carrà E. "Constructing the We": Relational Reflexivity of Couples with Children in Italy. A Mixed-Method Study // Marriage & Family Review. 2021. P. 1–30. Yin R. The Case Study Method as a Tool for Doing Evaluation // Current Sociology. 1992. Vol. 40. P. 121–137. DOI: https://doi.org/10.1177/001139292040001009

Сведения об авторе:

Любинарская Нина Александровна — магистр социологии, член научноисследовательской группы проекта «Осознание жизни в браке молодыми супругами: разработка категорий общения, взаимности, совместности», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва, Россия. **E-mail:** nina.lyubinarskaya@gmail.com. **РИНЦ Author ID**: 1129604; **ORCID ID**: 0000-0003-4373-2394.

> Статья поступила в редакцию: 24.06.2022 Принята к публикации: 10.12.2022

The Role of "Relational Reflexivity" in Family Relationships: a Case Study on the Example of Two Young Couples

DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.4

Nina A. Lyubinarskaya St. Tikhon's Orthodox University, Moscow, Russia E-mail: nina.lyubinarskaya@amail.com

This paper analyzes the dynamics of the relationship of spouses and reveals the role of "relational reflexivity" on the example of interviews with two young families conducted in 2019 and 2021.

The study based on the assumption that relational reflexivity plays a significant role in the stability of family relationships: its presence can strengthen them, and its absence can lead to a crisis in the family or to divorce. According on the results of comparing the narratives of two couples, changes in relational reflexivity in each family over time. We trace these changes through the analysis of the respondents' narratives which we will explain through the category's relational reflexivity — "self-detachment" and "relational steering" which create a "sense of us" using the methodology of the already existing research in the field of family sociology researchers Donati, Moscatelli, Ferrari, Paris, etc. In their work, the researchers rely on relational theory of sociologists Donati and Archer and argue that for the emergence of relational reflexivity" in the family, it is necessary to take into account two states of individuals in a pair — "ability to manage relationships" (relational steering) and "distance from oneself" (self-detachment), which allow relationships to be resilient to the hardships of family life by constructing a "we-relation". Thus, the strength of an alliance may depend on the response to external circumstances, how decisions are made and how destabilizing situations are resolved. The opposite of "relational reflexivity" can be "individualism". In Archer and Donati's logic of reflexive relations, individualism has similarities with "autonomous reflexivity", for which it is important to focus on "I" and not "We". Thus, excessive individualism in a couple can create precedents for ignoring the joint difficulties that arise in the life of each partner, and create difficulties in managing relationships, which in the future can lead to a crisis in the family and affect the joint future.

Keywords: young couple; relational reflexivity; autonomous reflexivity; we-relation; divorce; case-study; relational theory; individualism

References

Bahr H., Bahr K. (2001) Families and Self-Sacrifice: Alternative Models and Meanings for Family Theory. *Social Forces*. Vol. 79. No. 4. P. 1231–1258. DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sof.2001.0030

Beck U., Beck-Gernsheim E. (1995) *The Normal Chaos of Love*. Cambridge: Polity Press. DOI: https://doi.org/10.2307/2076615

Beck U., Giddens A., Lash S. (1994) *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order.* Cambridge: Polity Press. DOI: https://doi.org/10.2307/3341775

Berger P., Kellner H. (1964) Marriage, and the Construction of Reality: an Exercise in the Microsociology of Knowledge. SAGE. P. 5–11. DOI: https://doi.org/10.1177/039219216401204601

Bonkalo T. I., Marinova T. Yu., Feoktistova S. V., Shmelyova S. V. (2020) Diadicheskie koping-strategii suprugov kak faktor latentnyh disfunkcional'nyh otnoshenij v sem'e: opyt empiricheskogo issledovaniya v usloviyah pandemii [Dyadic Coping Strategies of Spouses as a Factor in Latent Dysfunctional Relationships in the Family: An Empirical Study in a Pandemic]. *Social'naya psihologiya i obshchestvo*



[Social Psychology and Society]. Vol. 11. No. 3. P. 35–50. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2020110303 EDN: CCZXFA

Chernova Z.V., Shpakovskaya L.L. (2010) Molodye vzroslye: supruzhestvo, partnerstvo i roditel'stvo. Diskursivnye predpisaniya i praktiki v sovremennoj Rossii [Young Adults: Marriage, Partnership, and Parenthood. Discursive prescriptions and practices in contemporary Russia]. *Laboratorium: zhurnal socialnyx issledovanij* [Laboratorium: Russian Review of Social Research]. No. 3. P. 19–43. (In Russ.) EDN: UEREOZ

Coontz S. (2005) *Marriage, a History: How Love Conquered Marriage*. London: Penguin books. Dolbik-Vorobej T.A. (2003) Studencheskaya molodezh' o problemah braka i rozhdaemosti [Student Youth on the Problems of Marriage and Fertility]. *Sociologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 11. P. 78–83. (In Russ.) EDN: HSSRIL

Donati P. (2014) Which Engagement? The Couple's Life as a Matter of Relational Reflexivity. *Anthropote*. Vol. 30. No. 1. P. 217–250.

Donati P. (2019) *Relyacionnaya teoriya obshchestva: Social'naya zhizn' s tochki zreniya kriticheskogo realizma* [Relational Theory of Society: Social Life from a Perspective of Critical Realism]. Moscow: Izdatelstvo PSTGU. (In Russ.)

Donati P., Archer M. (2015) *Relational Subject*. Cambridge: University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9781316226780

Giddens A. (1992) *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford: Stanford University Press. DOI: https://doi.org/10.2307/2075988

Giddens E. (2004) *Transformaciya intimnosti: seksual'nost', lyubov' i erotizm v sovremennyh obshchestvah* [The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies]. St. Petersburg: Piter. (In Russ.)

Goleva M. A. (2020) Kak molodye lyudi osmyslyayut vstuplenie v brak? Istorii o znakomstve i svad'be v interv'yu molodyh suprugov [How Young People Perceive Entry into Marriage: Acquaintance and Wedding Stories from the Interviews with the Newlyweds]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social'nye peremeny* [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 5. P. 186–203. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.5.1646 EDN: CFKWEO

Illouz E. (2008) Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help. Berkeley: UC Press, Ltd. DOI: https://doi.org/10.1525/CALIFORNIA%2F9780520224469.001.0001

Illouz E. (2012) Why Love Hurts: A Sociological Explanation. Malden: Polity Press.

Kozina I.M. (1995) Osobennosti primeneniya strategii «issledovaniya sluchaya» (case study) pri izuchenii proizvodstvennyh otnoshenij na promyshlennom predpriyatii [Features of the Application of the Strategy of "Case Study" in the Study of Industrial Relations in an Industrial Enterprise]. *Sociologiya: metodologiya, metody*`, *matematicheskoe modelirovanie (Sociologiya: 4M)* [Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling (Sociology: 4M)]. No. 5–6. P. 65–90. (In Russ.) EDN: PFTWIF

Lagojda N.G. (2017) Problema stabil'nosti braka i rosta chisla razvodov v sovremennom obshchestve [The Problem of Stability of Marriage and an Increase in the Number of Divorces in Modern Society]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Buryat State University]. No. 2. P. 86–96. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.18101/1994-0866-2017-2-86-96 EDN: YHEFDL

Lyubinarskaya N.A. (2020) Religioznost' i meta-refleksivnost' kak vzaimosvyazannye faktory, vliyayushchie na ustojchivost' otnoshenij [Religiosity and Meta-Reflexivity as Interrelated Factors Affecting the Stability of Relationships]. *Sociologiya religii v obshchestve pozdnego moderna*. *Sbornik statej po materialam IX nauchnoj konferencii* [Sociology of Religion in the Late Modern Society. A Collection of Articles on the Materials of the IX International Scientific Conference]. Vol. 9. P. 184–189. (In Russ.) EDN: RERFLY

Moscatelli M., Ferrari C., Parise M., Serrano C., Carrà E. (2021) "Constructing the We": Relational Reflexivity of Couples with Children in Italy. A Mixed-Method Study. *Marriage & Family Review*. P. 1–30.

Pavlyutkin I.V. Kak voznikaet obshchnost' v brake: logika vzaimnosti v narrativah zhyon iz mnogodetnyh semej [How the Sense of Community Arises in Marriage: The Logic Mutuality in the Narratives of Woman from Large Families]. *Ekonomicheskaya sociologiya* [Journal of Economic Sociology]. Vol. 22. No. 4. P. 11–34. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.17323/1726-3247-2021-4-11-34 EDN: PHOCRM

Strause A., Korbin J. (2001) Osnovi kachestvennogo issledovaniya_ obosnovannaya teoriya_ proceduri i tehniki [Basics of Qualitative Research Grounded Theory Procedures and Technique]. Transl. from Eng. by T.S. Vasileva. Moscow: Editorial URSS. P. 81–97. (In Russ.)

Yin R. (1992) The Case Study Method as a Tool for Doing Evaluation. *Current Sociology*. Vol. 40. P. 121–137. DOI: https://doi.org/10.1177/001139292040001009

Zabaev I.V. (2011) Logika analiza dannih v obosnovannoi teorii _grounded theory: Versiya B. Glezera [Grounded Theory Logics of Data Analysis: B. Glaeser's Version]. *Sociologiya: metodologiya, metody`, matematicheskoe modelirovanie (Sociologiya: 4M)* [Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling (Sociology: 4M)]. Vol. 32. P. 124–142. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.19181/4m.2021.52.5 EDN: OJILPH

Author bio:

Nina A. Lyubinarskaya — MA in Sociology, Member of the Research Group of the Project "Awareness of Family Life by Young Couples. Conceptualization and Operationalization of Categories Related to Communion in Marriage", St. Tikhon's Orthodox University, Moscow, Russia. E-mail: nina.lyubinarskaya@gmail.com. RSCI Author ID: 1129604; ORCID ID: 0000-0003-4373-2394.

Received: 24.06.2022 **Accepted:** 10.12.2022

Коллективная память



DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.5

EDN: VWTABN

Память о репрессированных: онлайн-ритуал коммеморации «Возвращение имен»¹

Ссылка для цитирования:

Даутова Т. Е. Память о репрессированных: онлайн-ритуал коммеморации «Возвращение имен» // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2022. Т. 14. № 4. С. 89–109. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.5. EDN: VWTABN

For citation:

Dautova T.E. (2022) The Memory of the Repressed: Online Ritual of Commemoration "Returning the Names". *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 14. No. 4. P. 89–109. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.5.





Даутова Татьяна Евгеньевна

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-mail: te.dautova@gmail.com

В данной статье мы рассмотрим формальное и содержательное расширение акции-ритуала коммеморации репрессированных «Возвращение имен», а также эмотивную характеристику участия в этой акции. Память о репрессиях — трудная память, инициативы по поддержанию которой скорее идут «снизу», от относительно малоресурсных акторов. В этом контексте интернет представляется перспективной площадкой для трансляции такой памяти. Мы рассмотрим перформативность ритуала коммеморации, способ, каким участники ритуала участвуют в памятовании и высказывают свою политическую и гражданскую позицию, оценивают репрессии и эмоционально соотносятся с ними. В статье используются эмотивные маркеры (аффект, эмоции, оценки) как спектр выразительности для проговаривания трудного прошлого. Было проанализировано 157 отобранных в социальных сетях постов. Согласно полученным результатам, онлайн-коммеморация трудного прошлого в большей степени связана с употреблением оценочных суждений, нежели со следами аффекта или даже эмоций, а значит, способы говорения

¹ Исследование реализовано при поддержке факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

о репрессиях во многом сформированы, хотя язык, дискурс не исчерпывает всей полноты переживаний участников.

Ключевые слова: аффект; память; перформативность; репрессии; ритуал; цифровые следы; эмоции

Введение

В данном тексте мы рассмотрим, как изначально офлайновая акция-ритуал памяти о репрессированных расширяется по форме и содержанию, распространяясь на онлайн-пространство. Репрессии — трудное прошлое, публичный нарратив о нем многослоен и неоднозначен, коммеморация о нем — часто удел низовых инициатив, уступающих государству в ресурсах. В этом контексте интернет может быть площадкой, где низовые инициативы могут быть воплощены.

В качестве кейса мы выбрали акцию «Возвращение имен — 2020»¹, которая заключается в публичном чтении краткой информации о репрессированном человеке. Из года в год акция, проводимая правозащитной организацией «Мемориал»², проходила офлайн, но с 2020 года вынужденно перенесена в онлайн. По предложению организаторов участники делятся видео с тематическим хештегом, а также (вероятно, по собственной инициативе) публикуют посты с этим хештегом (такие посты публиковались и ранее 2020 года). Мы обратились к трансляции акции, чтобы реконструировать форматы участия в этом коммеморативном ритуале, к постам — за поиском индивидуальных смыслов участия в ней. Вслед за Дж. Сантино [2019] мы привлекаем важное для нашего анализа понятие перформативности коммеморативного ритуала — обращение как к памяти, так и к социальным аспектам настоящего, как следствие, расширение смыслов и форм ритуала. Мы фиксируем, как участники воспроизводят память о репрессированных и как осовременивают эту тему сегодня. Публикуя свои посты с тематическим хештегом акции, они участвуют и в памятовании, выстраивают преемственность межпоколенческой памяти о трудном прошлом и высказывают свою гражданскую позицию.

Обращаясь к памяти о трудном прошлом, лишенном единого публичного нарратива (впрочем, возможен ли он?), мы привлекаем эмотивные маркеры, встроенные в высказывания участников: следы аффекта, эмоции, оценки. Такое решение обусловлено высоким градусом переживаний тех, кто неравнодушен к сложному периоду отечественной истории, а также в связи с судьбами родных и близких. Аффект можно определить как слишком интенсивную эмоцию или как нерефлексируемое, нефиксируемое социализированным языком

¹ В последующие годы, 2021 и 2022, подтвердился тренд на онлайн-коммеморацию сталинских репрессий. Более того, в 2022 году акция состоялась в Москве исключительно онлайн — в формате стрима, будучи не поддержанной московским правительством.

² «Мемориал» — международное НКО, занимающееся правозащитной, исследовательской и благотворительной деятельностью. Признан иностранным агентом в России.



переживание [Массуми, 2020]. Именно ввиду своей ограниченной артикуляции аффект кажется релевантным в ситуации, когда не до конца понятно, как о трудном прошлом нужно и можно говорить. Эмоции и оценки представляют другой уровень выражения — они категоризированы, культурно означены. Мы предлагаем зафиксировать эти реакции как возможный спектр, таким образом обосновывая степень того, насколько социальный язык способен выразить чувства относительно трудного прошлого.

Трудная память о репрессиях

Память о репрессиях советского времени в России — трудная память. Хотя государство временами предпринимает попытки присвоить нарратив о трудном прошлом [Malinova, 2018] или даже поддерживает инициативы по коммеморации репрессированных [Эппле, 2020; Богумил, Романов, 2018], оно все равно остается скорее эклектичным в своем обращении к этому прошлому [Malinova, 2018]. Разговор о репрессиях затрудняется отсутствием понимания, как его можно выстраивать [Эткинд, 2016]. Даже краеведческие музеи, хоть и содержат сюжет репрессий, не включают его в общий локальный исторический нарратив [Gavrilova, 2021]. Память о репрессиях оказывается периферийным сюжетом и на уровне общества, оставаясь инициативой скорее отдельных людей [Кhazanov, 2008], имеет «низовой» уровень [Юдин и др., 2016], хотя и такие инициативы памяти о репрессиях сталкиваются с препятствиями [Эппле, 2020; Эткинд, 2004]. Такая память обычно сосредоточена на репрессированных, а репрессировавшие и их потомки остаются в забвении [Зевако, 2022].

Память в интернете

Поскольку с темой памяти о трудном прошлом мы вступаем на поле memory studies, кратко очертим наши диспозиции. Коллективная, или социальная, память — репрезентации прошлого, релевантные в настоящем и разделяемые на групповом уровне [Conway, 2010; Olick, Robbins, 1998; Halbwachs, 1980], они могут быть множественными [Winter, 2010; Erll, 1997] и даже противоречивыми [Schwartz, 2016; Conway, 2010]. Память — это сложное поле с множеством акторов: историками, государством, музеями, книгами, школой, учебниками, опытом отдельных граждан. Коммеморация прошлого — это практики его репрезентации, действия и объекты [Shwartz, 2016].

В этом множестве релевантных сюжетов нас интересуют публичные ритуалы коммеморации. Публичный коммеморативный ритуал — это коллективное совершение действия с целью памятования. Ритуальность проявляется в трансформационном или подтверждающем характере совершаемого действия [Сантино, 2019]. Это действие перформативно, потому что «заставляет нечто случиться» [Сантино, 2019: 19]: с одной стороны, такой ритуал актуализирует некоторое видение прошлого, воспроизводит память, а с другой — может затрагивать

социальные проблемы настоящего. Перформативный коммеморатив соединяет личное и публичное. Смысл, задачи, цели ритуала могут переопределяться по его ходу, интерпретироваться организаторами, участниками, наблюдателями по-разному, а потому приводить к различным итогам. В связи с перетеканием коммеморации из офлайна в онлайн мы предлагаем определять коммеморативный ритуал шире, нежели фокусируясь на непосредственном событии, акции. Коммеморация как сфокусированная цепь действий вокруг этого ритуала далее не затухает, производя оформленные платформой цифровые следы в их динамике. Фоновая память предъявляется в том числе и в цифровом виде, на различных платформах, где участники могут делиться фото, видео, текстами и т.д., которые сохраняются в интернете и переходят в ранг цифровых следов.

В интернете пользователи относительно легко могут участвовать в ретрансляции различных образов прошлого, интернет более демократичен [Хлевнюк, Максимова, 2021], а потому оказывается площадкой «культур соучастия» [Хлевнюк, Максимова, 2021; Дженкинс, 2019]. Социальная память множественна [Conway, 2010; Confino, 1997], интернет же — еще один медиум для развития этой множественности, или фрагментарности [Khlevnyuk, 2019]. Хотя институционально сильные игроки типа профильных инстанций государства обладают большими ресурсами для трансляции своего видения прошлого (например, через контроль над системой образования, путем назначения памятных дат) [Malinova, 2018; Armstrong, Crage, 2006], тем не менее в интернете и «сильные», и «слабые» могут транслировать память. Более того, память о трудном прошлом, тем более публичную, можно также рассматривать как активизм с использованием памяти (memory activism) [Merrill и др., 2020], а с учетом расширения акции в сети, с помощью хештега — как цифровой и хештег-активизм [Dobrin, 2020].

Итак, первоначально очный (офлайн) ритуал коммеморации расширяется в интернете за счет хештега и облегчает содержательный поиск. В контексте памяти о трудном прошлом интернет с его демократичностью оказывается потенциально продуктивным пространством для трансляции памяти низовыми акторами. Такая память даже может рассматриваться как цифровой активизм в контексте лакун публичного разговора о сталинских репрессиях. Особенно учитывая, что перформативный ритуал обращается не только к памяти о прошлом, но и к проблемам настоящего.

Далее мы реконструируем коммеморативный ритуал и в особенности его расширение в сети, зафиксировав формы участия в акции коммеморации и эмотивные маркеры участия (аффект, эмоции, оценки в сетевых постах участников), и представим результаты содержательного анализа.

Аффект, эмоции и оценки в выражении социальной памяти

Память и коммеморативные практики сопряжены с аффектом, эмоциями, оценками. Участвуя в коммеморациях, индивиды не просто воспроизводят память, но еще и переживают, чувствуют релевантный этой памяти аффект



[Winter, 2010]. Аффект рассматривается в различных коммеморациях как нечто, уже заложенное в самом месте, и/или переживаемое телом [Knudsen, Ifversen, 2017].

В литературе нет единого принятого определения аффекта и не всегда обозначена граница (если она подразумевается) между аффектом, эмоциями, чувствами, переживаниями и так далее [Завадский и др., 2019]. Аффект может рассматриваться более широко и включать в себя эмоции как частное проявление, «культурно маркированную аффективную реакцию» [Деева, 2010: 137]. Брайн Массуми определяет аффект как нерефлексируемое, нефиксируемое социализированным языком переживание, то есть такое, которое не может быть описано языком категорий. В этом смысле аффект отличается от эмоций — переживаний, которые могут быть описаны и категоризированы (например, гнев, любовь, страх и т.д.) [Массуми, 2020; Мипгое, 2016], а также от оценочных суждений (например, «глупый», «вредный», «хороший»).

Как в таком случае изучать аффект? Фиксированный в языке аффект это оксюморон. Когда аффект «фиксируется», он перестает быть аффектом [Массуми, 2020]. В изучении аффекта также можно отталкиваться от того, что это более сильное чувство, нежели то, для которого находятся слова (как, например, для эмоций или оценочных суждений). И тем не менее это сильное чувство может быть так или иначе выражено, хоть и не в привычных эмоциональных или оценочных категориях: «аффект: не укладывающийся в привычные эмоциональные режимы интенсивности физических ощущений, выплескивающийся в письмах» [Николаи, 2018: 234]. В современных исследованиях связи памяти и аффекта предлагается, к примеру, полисенсорный подход к изучению мест наследия: изучение взаимоотношения чувств, эмоций, ощущений и памяти. Признавая за аффектом его чувственную природу и неосознанность, исследователь описывает цепочку означивания чувств: ощущения (sensory experiences) могут стать чувствами (feelings), чувства эмоциями, которые затем могут перерасти в формы знания и социальные действия [Sather-Wagstaff, 2017].

Говоря о репрессиях как о «трудном прошлом», лишенном единого публичного нарратива, мы предполагаем, что аффект, ввиду своей ограниченной артикуляции, может быть как тема актуален при обращении к памяти об этом прошлом (то есть в ситуации, когда непонятно, как об этом прошлом точно нужно и можно говорить). Мы предлагаем придерживаться менее радикальных взглядов и рассматривать проявления аффекта в попытках выразить сильные чувства, не находящие выражения в языке эмоций или оценочных суждений. Тогда аффект — это невыразимость, сильные, трансгрессивные чувства, недостаток слов, сложности в их подборе. Например, обращения к телу, к метафорам, восклицания и междометия, многоточия, обсценная лексика. С опорой на современные исследования, которые демонстрируют возможность перехода недискурсивного аффекта в дискурсивные эмоции, знание, социальные действия [Sather-Wagstaff, 2017], мы можем предположить связь аффекта, эмоций и оценок.

Кейс и его специфика

Памятная акция публичного чтения имен репрессированных «Возвращение имен» проводится с 2007 г. в центре Москвы на Лубянской площади у привезенного с Соловков¹ камня, она также распространилась и по другим городам России и за рубежом. Акция организовывалась некоммерческой организацией «Мемориал»² ежегодно 29 октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, с 10 до 22 часов. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса организация публичных мероприятий в Москве была ограничена: «Возвращение имен» перенесли в онлайн-формат. «Мемориал» — правозащитная организация, скорее либеральная, у нее сложные отношения с государством³, и это, можно предположить, сказывается на характере акции. Помимо того, что сама по себе тема репрессий — сложная тема для государства, так еще и память о ней сохраняется силами организации, повестка которой расходится с «официальной».

В рамках онлайн-акции приглашали всех желающих получить на сайте краткую информацию о трех репрессированных людях и зачитать ее на видео, после чего прислать файл организаторам или опубликовать в социальной сети с хештегом «#возвращениеимен». Круг участников не ограничивался Москвой. 29 октября 2020 г. организаторы устраивали трансляцию, в которую включали присланные или найденные в социальных сетях по хештегу видео. В итоге в трансляцию вошли ролики из разных уголков страны и мира. В то же время это остается московской инициативой, так как акциями в регионах обычно занимались локальные филиалы. Вероятно, это сказалось и на участниках: по крайней мере итоговая выборка постов показывает, что Москва превалирует.

Методология, выборка, сбор и анализ данных

Мы обратились к трансляции, чтобы зафиксировать формы участия, возможные в рамках акции. Помимо частных видео, с хештегом публиковались текстовые посты, фотографии, а также посты от различных групп или общественных организаций. Как показывают результаты поиска, посты под хештегом публиковались и ранее 2020 года. Встречаются публикации, приуроченные к другим релевантным акциям (например, другим чтениям, таким как

¹ Соловки — первый советский исправительно-трудовой лагерь особого назначения, по примеру которого возникли и другие лагеря системы ГУЛАГ.

² «Мемориал» — международное НКО, занимающееся правозащитной, исследовательской и благотворительной деятельностью. Признан иностранным агентом в России.

³ Наиболее яркий пример — собственно признание организации иностранным агентом (2016) и её ликвидация (2022). Также см., например: «Мемориал» обвинил власти Москвы в срыве акции памяти жертв репрессий // Ведомости. 19.10.2018. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/19/784183-memorial (дата обращения: 01.11.2022); О ситуации со Школьным конкурсом Мемориала // Уроки истории. 22.04.2017. URL: https://urokiistorii.ru/school_competition/news/o-situacii-so-shkolnym-konkursom-memo (дата обращения: 01.11.2022).



«Молитвы памяти»¹, «Голоса Памяти»²). То есть можно заметить расширение первоначально предложенного коммеморативного ритуала, причем не только посредством цифровой среды, но и через связи с другими тематическими мероприятиями. Акция, апеллирующая к памяти о сталинских репрессиях, вызывает резонанс или существует в резонансе с другими подобными акциями. Иными словами, предложенный формат актуализации памяти не только находит отклик у участников акции, но и проявляется в других схожих акциях (аудитория которых может отличаться — например, апелляция к религиозным ритуалам в случае «Молитвы памяти»).

В фокусе нашего интереса были цифровые следы — сохранившиеся на момент сбора посты участников акции по хештегу «#возвращениеимен». Отбирались посты, созданные в 2020 году на личной странице, доступные по поиску, содержащие собственный текст автора (более одного слова). В итоге было отобрано: из «ВКонтакте» (ВК) — 30, из «Твиттера» (ТВ) — 15, из «Инстаграм» (Инст.) — 76, из «Фейсбука» (ФБ) — 36³, то есть всего 157 постов⁴. Для анализа эмотивных маркеров (так мы будем обобщенно называть аффекты, эмоции и оценки) было закодировано 59 постов, так как только в них они были обнаружены, большинство — из «Фейсбука», «ВКонтакте» и «Инстаграма», из Москвы, от женщин. Далее при описании результатов анализа мы используем не все посты. Цитаты пронумерованы в соответствии с кодовым номером автора (всего в статью вошли цитаты 31 автора) и по возможности сопровождаются данными по полу, городу и источнику. Пунктуация и орфография авторов постов сохранены.

Мы кодировали в соответствии с логикой тематического анализа. В начале мы задали три категории для анализа постов: смыслы, мотивация участия и эмотивные маркеры. Далее мы кодировали тексты постов, в основном in vivo, то есть прямым цитированием, в соответствии с этими категориями. Затем эти цитаты внутри категорий содержательно группировали в темы, представленные в анализе.

Мы также провели экспертные интервью с пятью организаторами акции: четырьмя сотрудниками «Мемориала» и одним волонтером, чтобы выяснить их оценки происходящего в рамках ритуала.

¹ «Молитва памяти» — акция чтения имен репрессированных, организованная Преображенским братством совместно с христианской церковью в России. Ежегодно 30 октября. URL: https://molitvapamyaty.ru/ (дата обращения: 02.06.2022).

² Чтения имен расстрелянных на Бутовском полигоне (Москва).

 $^{^3}$ В России среди людей среднего и старшего возраста популярна также социальная сеть «Одноклассники» — там не было обнаружено соответствующих постов.

⁴ Поиск «Фейсбука» выдает посты «по популярности», не поддающейся определению, понять, доступны ли нам все посты, не удалось. Были исключены посты, отсылающие к другим акциям. Отметим, что в целом поиск по хештегу выдал гораздо больше постов (без текста, фото): более тысячи, но совокупно за 2020 и более ранние годы.

Результаты

Субъективные форма и смысл участия в онлайн-ритуале

Мы называем акцию «Возвращение имен» ритуалом, так как усматриваем в ней совершение некоторого метадействия (поминания) посредством перечня последовательных действий (чтение имен и кратких биографий по очереди). Рассматриваемый нами ритуал коммеморации имеет определенный сложившийся ранее порядок участия в нем: есть ожидания относительно того, что участники будут делать. Эти ожидания заложены организаторами ритуала, но они также утвердились за счет постоянного повторения. Приходя на акцию, участники видели, что нужно делать, глядя на других или же опираясь на свой предыдущий опыт участия. Тем не менее едва ли можно говорить о жесткой фиксированности смысловой и формальной частей акции. «Внешнему» наблюдателю акция может показаться неизменной. Однако ритуал разворачивается сложнее: участники могут приходить с именами или историями своих родственников, добавлять короткие высказывания от себя или пытаться добавить более длинные (что, по словам информантов, происходит редко и пресекается). Более того, ритуал продолжается в цифровом формате (к чему мы и обращаемся) — у него есть «цифровые следы»: посты, фотографии, которыми люди делятся в социальных сетях. Цифровой формат участия дает больше свободы выхода за рамки имени, возраста, должности, даты расстрела: участники могут делиться своими мыслями по поводу акции, репрессий, прошлого, настоящего и прочее. Подобные комментарии распаковывают прежнюю форму ритуала, делают ее более гибкой и построенной на взаимодействии в сети.

Расширение ритуала участниками оценивается организаторами неоднозначно, Организаторы акции — сотрудники «Мемориала» , которые участвуют в подготовке и проведении акции, — по-разному относятся к отступлениям участников (при очном чтении). Для одних это в порядке вещей: «Если они говорят что-то другое, то окей, значит, они так помнят» (ж., сотрудница 1). Или даже ожидается: «Это возможность высказать свою позицию и в отношении прошлого, и в отношении настоящего» (м., сотрудник 2). В то время как другие находят это неуместным по разным причинам. С одной стороны, организованная акция как бы в себе уже несет идею недопустимости ограничений гражданских свобод, а потому не стоит смещать фокус в эту сторону в ущерб основному замыслу — поминовению:

«Лишняя минута, которую ты поговорил о том, что нужна свобода политзаключенным — **мы все за свободу политзаключенным,** — означает, что какой-то человек не успеет прочитать свое имя, которое ему дали на листочке» (м., сотрудник 3).

С другой стороны, напротив, акция позиционируется как идеологически нейтральная, а потому злободневные отступления излишни: «Это немножко»

¹ «Мемориал» — международное НКО, занимающееся правозащитной, исследовательской и благотворительной деятельностью. Признан иностранным агентом в России.



разрушает цельность этой акции. Она по идее не должна иметь идеологии» (м., сотрудник 4). Отступления также проблематизируются как излишняя индивидуализация в ритуале, который, напротив, направлен на общность (солидаризацию и унификацию?):

«Везде, где человека больше как индивидуального, его меньше как общественного. В данном случае не так уж хорошо. Это скорее отношение к общности, а не для того, чтобы показать свое отношение» (м., сотрудник 4).

Таким образом, участие в ритуале коммеморации хоть и предполагает определенную форму и содержание, все равно может в каких-то пределах видоизменяться усилиями самих участников. Чтение имени и краткой биографии остается основой участия в данном ритуале, хотя и возможны некоторые отступления, «каденции» со стороны участников. Форма ритуала, с одной стороны, задается организаторами, а с другой — подхватывается, поддерживается и расширяется участниками. Можно предположить, что посредством таких каденций участники реализуют свои личные интересы, потребности, связанные с «общим» ритуалом. Очевидно неоднозначное отношение самих организаторов к такому расширению. Вероятно, в такой ситуации выражение собственных взглядов и историй в формате постов оказывается более удачным/демократичным вариантом, не нарушающим задуманный ход акции, но открывающим возможность саморепрезентации участников. В то же время сами опрошенные организаторы не создавали формат этой акции, а значит, поддерживают уже сложившийся порядок ее проведения и, в каком-то смысле, остаются наблюдателями.

Мы реконструировали субъективные смыслы коммеморации, а также предъявляемые участниками мотивы вовлечения в ритуал коммеморации. Смысл, который вкладывают участники в коммеморацию, имеет разночтения: это и про память, и про высказывание о проблемах прошлого и настоящего, например, о правах человека: «День памяти всех расстрелянных, пропавших в застенках, отсидевших в ГУЛАГе» (автор 11, ж., Москва, ТВ); «Советского Союза давно нет, а репрессии никуда не делись, и их масштаб нарастает с пугающей скоростью» (автор 21, м., Москва, Инст.). Обращение к правам человека не только в прошлом, но и в настоящем, транслирует идею гражданских свобод как некой универсалии:

«День — катарсис, когда смятение, страх, гнев, преображаются в намерение поддерживать память, в упрямую **веру гражданских свобод**» (авт. 18, ж., Москва, Инст.).

По текстам постов мы реконструируем мотивы участников. Мотивы участия в ритуале опять же представляют некоторый континуум, но, тем не менее, объединяются ритуалом коммеморации. Участников в ритуал может

приводить не только желание почтить память своих родственников или же пострадавших людей в целом:

«Еще мы дети, внуки, правнуки тех, кто прошел этот ужас. <...> Все, что мы, их потомки, можем сейчас, это не забывать» (авт. 15, ж., Москва(?), Инст.).

Но и интерес к теме, спровоцированный, напротив, тем, что репрессии семьи не коснулись:

«Так вышло, что моя семья практически не столкнулась с репрессиями. <...> Так что я чувствую себя частью страны, у которой есть секрет, который меня как бы не коснулся. И мне очень интересно все, связанное с ним» (авт. 9, ж., Санкт-Петербург, ВК).

Или присутствует желание продемонстрировать свою позицию относительно прав человека, репрессий: «Не только потому, что в свое время репрессии затронули мою семью. Это просто-напросто бесчеловечно» (авт. 23, м., Москва, Инст.). И высказать их недопустимость: «Невозможно все это знать и НИЧЕГО не делать» (авт. 7, ж., Франция, ФБ). Участники также обращаются к своим чувствам, которые приводят в ритуал коммеморации: «Это трогает мое сердце, и поэтому я участвую» (авт. 7).

Среди высказываний участников можно заметить обращения к некой общности «нас», к «нашим» жизням, к обществу: «*Мы не должны позволять этому повториться, а мы уже позволяем*» (авт. 29, ж., Москва, ФБ). Такую размытость субъекта, манифестацию групповой принадлежности, коллективистский язык можно рассмотреть как указание на эффект солидаризации ритуала, осознания принадлежности к общности, разделения посылов коммеморативного ритуала с участниками.

Высказывания участников в основном посвящены тем, кто совершал репрессии и тем, кто от них пострадал, при этом поминовение направлено именно на последних. Хотя в постах встречаются и случаи, когда участники предлагают вспомнить человека, совершавшего репрессии, но без «позитивного» намерения помянуть, а скорее осудить:

«Всплывает, словно из глубин моря, **пронзает душу** — каким человеком был капитан Матвеев, который день за днем, аккуратно и добросовестно делал свою работу — лично из нагана расстрелял 1111 человек» (авт. 29, ж., Москва, ФБ).

Из интервью мы узнаем, что бывают случаи, когда на акцию открыто приходят потомки репрессировавших, раскаиваясь за своих родственников. Более того, в списки репрессированных нередко попадают и те, кто репрессировал, а потому и их «имена» оказываются «возвращены». Тем не менее акция выходит скорее «несимметричной» [Ассман, 2014] относительно памяти



о субъектах и объектах репрессий, так как уклон идет в сторону последних, хотя граница и может смещаться.

Распределение акции по нескольким социальным сетям уже подтверждает тенденции, описанные в литературе: интернет размывает границы, способствует фрагментарности памяти. Сам формат акции — публикация на личных страничках — с одной стороны, приводит к тому, что публикации получаются индивидуальными, атомизированными, они принадлежат конкретным профилям пользователей. С другой стороны, с помощью заданного хештега они включаются в общее пространство акции и таким образом воссоздают фрейм некой группы, для которой данная память жива, а коммеморация актуальна.

Таким образом, форма и смысл ритуала расширяются самими участниками: как в том, что они содержательно привносят в ритуал (историю своей семьи, высказывания на актуальные социально-политические темы — делая ритуал перформативным), так и в том, где формально они его продолжают (в социальных сетях, публикуя посты с хештегом). Акция-ритуал оказывается онлайн-пространством, куда могут «прийти» люди с разными намерениями и найти место для их воплощения. Хотя спектр этих намерений явно не бесконечен и так или иначе ограничивается интересом к репрессиям как к трудному прошлому, а также, для некоторых, как к актуальному настоящему.

Далее мы проведем более подробный анализ содержания постов участников и рассмотрим их эмотивный репертуар участия — аффект, эмоции и оценки.

Эмотивный репертуар участия в онлайн-ритуале

Эмотивное состояние (аффекты, эмоции, оценки) — эмпирически важная составляющая участия в ритуале коммеморации. «Трудное прошлое», к категории которого относятся сталинские репрессии, оказывается темой без выработанного единого публичного нарратива, то есть остается непонятным, как о репрессиях стоит и позволено говорить. Поэтому кажется оправданным обращение к недискурсивному аффекту как способу отношения к этой теме. Репрессии остаются сложной темой не только для выражения в языке, но и для отражения чувств людей, что мы и хотим здесь зафиксировать. Аффект же далее может, по мере того как работает «дискурсивная машина означивания», переходить в дискурсивные эмоции, знание, социальные действия [Sather-Wagstaff, 2017], и мы действительно отмечаем такой процесс в артикулированных текстуальных позициях участников.

Мы выделили темы, которые возникают в высказываниях участников и которые сопряжены с эмотивными маркерами. Это репрессии (оценки и переживания по поводу репрессий), субъекты репрессий (отношение к инициаторам, исполнителям), осуждение эпохи/режима, жертвенность, а также ритуал коммеморации (ощущения участников, одобрение участников, одобрение акции). В целом можно говорить о негативном отношении к трудному прошлому (репрессиям, исполнителям/инициаторам, к эпохе/режиму). Эмпатийно участники относятся к погибшим от репрессий («жертвам»), к акции-ритуалу, поминающей этих погибших, к участникам этой акции.

Такие оценки ожидаемы: государственные профильные институции о таком не часто говорят, а низовые инициативы осуждают это трудное прошлое.

В качестве аффекта мы фиксировали интенсивные переживания. Например: «Ужас» (авт. 15, ж., Москва(?), Инст.), соматический язык, обращения к телу: «Особенно ломит ребра» (авт. 1, ж., Москва, ФБ); «Но сердце знает правду, достаточно его услышать...» (авт. 27, ж., Москва, Инст.), восклицания и паузы в речи (множество вопросительных знаков, восклицательные знаки, многоточия). «Вечная память. Люблю. Горжусь. Скорблю» (автор 4, ж., Москва, ФБ) — как пример обращения к дискурсивным эмоциям. Наконец, пример метафор и оценок: «Чудовищная эпоха» (авт. 28, ж., Москва(?), ФБ); «Советский террор — все 70 лет этого ада» (авт. 14, ж., Москва, ТВ).

Участники артикулируют ужас и жестокость репрессий, используя сильные оценочные слова, например: «Сгинула в кровавой мясорубке ГУЛАГа» (авт. 26, ж., Москва, Инст.); «Жуткая мясорубка» (авт. 6, м., Москва, ФБ); «Этот ужас» (авт. 15, ж., Москва(?), Инст.). Называют репрессии «травмой»: «Огромная травма невероятного количества людей» (авт. 15), — что может быть аффективным проявлением отношения к теме, если рассмотреть травму в психоаналитическом понимании — как нерефлексируемый разрыв опыта и сознания, невозможность осознать произошедшее и выразить это в языке. Оценки также передают озабоченность массовостью репрессий.

Притом оценки формулируются как за счет прилагательных-квалификаций: «Жуткая мясорубка» (авт. 6, м, Москва, ФБ); «Миллионы уничтоженных и искалеченных судеб» (авт. 23, м., Москва, Инст.), так и за счет метафор: «Каток той репрессивной машины» (авт. 2, ж., Ульяновск(?), ВК).

Более того, участники пытаются передать масштабность еще и за счет регистра, как бы повышая тональность написанного, что мы можем отнести к проявлению аффекта: «*ТАКОЕ* количество жертв» (авт. 7, ж., Франция, ФБ); «Невозможно все это знать и *НИЧЕГО* не делать» (авт. 7, ж., Франция, ФБ). Аффект относительно репрессий проявляется и в том, как участники используют язык тела, соматические метафоры: «*Голова, сердце, тело* отказывается понимать произошедшее» (авт. 1, ж., Москва, ФБ); «*Гудит и ломает от боли все тело*» (авт. 1, ж., Москва, ФБ). Следы аффекта также в вопрошаниях-восклицаниях, усиленных множественными знаками препинания: «*Что это???* Как??» (авт. 1, ж., Москва, ФБ), а также междометиями: «*Господи*» (авт. 1). Наконец, маркером аффекта может быть и категория «боли» — опять же ощущения скорее физического, но вызванного нефизическими факторами: «*Признать, взять ответственность, значит* — облегчить боль, дать возможность правде проявиться» (авт. 15, ж., Москва(?), Инст.).

Относительно субъектов репрессий — инициаторов и исполнителей — участники тоже используют оценочный язык. Например, оценивая их как «мразей и подонков» (авт. 5, м., Москва, ФБ), «палачей» (авт. 5; авт. 8, ж., Тамбов, ВК; авт. 16, м., Псков, Инст.), «убийц» (авт. 16, м., Псков, Инст.). Участники могут высказываться и более конкретно, например, в отношении Сталина: «Существо, чьему чучелу в нашей стране до сих поклоняются» (авт. 20, ж., Москва, Инст.), опять же прибегая к оценочному языку, хоть и иносказательно,



не называя напрямую объект своей оценки. Действия субъектов — участников репрессий вызывают в участниках не только негативные оценки, но и аффективное переживание. Например, участница обращается даже не к физическим, а к «душевным» ощущениям: «*Пронзает душу* — каким человеком был капитан Матвеев» (авт. 29, ж., Москва, ФБ).

Через сильные негативные оценки участники описывают эпоху: «Мерзейшая, чудовищная эпоха» (авт. 28, ж., Москва, ФБ). Советский террор оценивается как «трагедия» и «ад»: «Ушедший век был для нашего Отечества не только столетием великих побед, но и эпохой трагедий» (авт. 19, Инст.). Высказываются и более «аккуратные», с меньшим градусом, оценки: «Грустные страницы нашей истории» (авт. 19), оценки, граничащие с эмоциями (грусть). Сталинизм, сталинская эпоха, сталинский режим получают отдельное внимание в постах участников: «Преступления сталинизма» (авт. 9, ж., Санкт-Петербург, ВК); «Сталинская бесчеловечная система» (авт. 13, ж., Санкт-Петербург, ВК). Пожалуй, эту категорию высказываний можно рассматривать совместно с осуждением субъектов репрессий, где отдельно выделяется личность Сталина.

Относительно людей — объектов репрессий участники выражают положительные оценки и эмоции. Например: «красивые имена», «любимые мои» (авт. 24, ж, Инст.), «замечательный человек, памятью которого я очень дорожу» (авт. 17, ж, Инст.). Участники используют категорию «жертв», что уже само по себе оценка, так как транслирует безвинное страдание репрессированных (например, можно было бы считать, что репрессированы были люди, которые этого заслужили, и категоризировать их как преступников, предателей, наказанных, и прочее). Но формула «жертв» заложена уже в самом названии Дня памяти жертв политических репрессий, к которому акция приурочена. Идея невинности и мученичества развивается в постах: «Невинно осужденных и убитых» (авт. 8, ж., Тамбов, ВК); «Миллионы сломанных судеб, убитых, замученных в лагерях и детских домах» (авт. 25, ж., Москва(?), Инст.).

Акция-ритуал положительно оценивается участниками: «Хорошее дело» (авт. 3, ж., Москва(?), ФБ); «Куда полезней самых красивых литературных чтений» (авт. 5, м., Москва, ФБ); «Возможность» (авт. 30, ж., Москва, ФБ). Участвовать оказывается настолько хорошо и важно, что, упустив эту возможность, человек негативно себя оценивает: «Прочитать имена я не успеваю, потому что чучело, которое не сопоставило даты и дни недели» (авт. 2, ж., Москва, ВК). Незнание об акции кажется странным: «Удивляюсь, что так мало людей знает об этом событии» (авт. 31, ж., Москва(?), ФБ).

Чувства оказываются не просто средством выражения для участников. Чувства приводят в ритуал: «Это трогает мое сердце, и поэтому я участвую» (авт. 7, ж., Франция, ФБ). Чувства оказываются пресуппозицией для участия или условием для самоотбора на акцию, именно способные «чувствовать» становятся участниками (но только ли?): «Как бы хотелось сейчас стоять в очереди к камню, видеть, что ты не один, есть еще в этой стране адекватные, чувствующие люди» (авт. 12, ж., Москва, Инст.). Наконец, чувства в контексте ритуала выступают в качестве триггера для когнитивных действий — «задуматься», помнить, «верить в гражданские свободы»: «Можно послушать

и ужаснуться бесконечности списка. А ужаснувшись — задуматься» (ужас — разновидность аффекта) (авт. 2, ж., Москва, ВК); «День — катарсис, когда смятение, страх, гнев, преображаются в намерение поддерживать память, в упрямую веру гражданских свобод» (страх, гнев — сильные реакции) (авт. 18, ж., Москва, Инст.).

Таким образом, эмотивный репертуар участия (аффект, эмоции, оценки) составляет актуальную рамку для анализа языка, который используют участники. Более того, чувства приводят в ритуал, а также преобразуются в нем. Выражение чувств в языке действительно можно разложить на эти три «уровня». Само наличие аффекта говорит о невыразимости тех или иных переживаний участников коммеморации. С другой стороны, надо признать, что эта невыразимость частичная. Так, эмоции и аффект примерно одинаковы по частоте проявления: около пятой части постов приходится на употребление каждой категории, притом доля зафиксированных эмоций даже чуть меньше. Большинство же — более половины постов с эмотивными маркерами — содержали именно оценки трудного прошлого в отношении различных его предметов/тем¹. Эмоции и оценки иногда пересекаются: «Грустные страницы нашей истории» (авт. 19, Инст.).

Можно предложить представить репертуар участия в виде континуума «невыразимость (аффект) — попытка найти слова (эмоции) — выразимость (оценки)» (в сокращенном и обобщенном виде мы представляем этот континуум в таблице 1, сохраняя некоторые наглядные примеры; читать сверху вниз). По выражению самих участников, аффект или эмоции могут стать триггером для переработки ощущений в когнитивные действия, подобная динамика уже была описана другими исследователями памяти [Sather-Wagstaff, 2017]. Таким образом, в данном коммеморативном ритуале мы видим наличие разных «уровней» выразимости субъективных ощущений участников, тем самым подтверждая целесообразность выделения аффекта в отдельную категорию [Массуми, 2020].

Таблица 1 Континуум репертуара эмотивного участия

Невыразимость (аффект)	Попытка найти слова (эмоции)	Оценки
Голова, сердце, тело отказывается понимать произошедшее (1)	Люблю (4)	Мерзейшая, чудовищная эпоха (28)
Пронзает душу (29)	Скорблю (4)	Жуткая мясорубка (6)
Это трогает мое сердце (7)	Cmpax (18)	Мрази и подонки (5)
Облегчить боль (15)	Удивляюсь (31)	Любимые мои (24)

¹ Мы обращаемся к такому подсчету с целью показать относительные доли эмотивных маркеров, отобразить их соотношение в конкретном случае, который нам довелось задокументировать. Полученные доли не составляют 100%, так как в некоторых постах может быть более одного типа эмотивного маркера (например, эмоции и оценки).



Мы заметили, что большая доля в высказываниях приходится на оценки, затем — на аффект и эмоции. Это говорит о том, что переживания в разной степени проработаны и хотя могут быть выражены языком, но еще есть место неотрефлексированным, невыраженным полноценно в категориях эмоций или оценок переживаниям, то есть аффекту.

Заключение и дискуссия

На фоне скорее «низового» характера памяти о трудном прошлом — сталинских репрессиях — демократичность интернета оказывается многообещающей перспективой для трансляции такой памяти. И действительно, акция «Возвращение имен» продолжается в «цифре» — в интернете, причем даже не за счет усилий организаторов, а благодаря инициативе-отклику участников, подхватывающих предложенный хештег. На примере акции «Возвращение имен» мы показали видоизменение ритуала, который ищет формы воплощения и солидаризации за пределами рамок оригинального ритуала. Цифровые следы ритуала сохраняются в сети и позволяют реактивно обращаться к формам и смыслам участия, транслируемым участниками.

Как выяснилось, коммеморативный ритуал перформативен: он не только привлекает внимание к прошлому, но и обращается к социальным и политическим проблемам настоящего: участники высказываются о недопустимости репрессий в прошлом и настоящем, о государстве, о правах человека. Учитывая формат, подобные высказывания можно рассмотреть как цифровой и хештег-активизм.

Акция становится пространством поминовения репрессированных и осуждения репрессировавших. Первым «возвращают имена», вспоминают их истории, вторые — в основном оказываются обезличенной группой «преступников». Память получается снова скорее «несимметричной» — о «жертвах» помнят больше, чем о «палачах», а для симметрии, как писала Ассман, нужны голоса и тех, и других (их потомков). Хотя намерение говорить о репрессировавших явно прорывается: даже если сам формат акции этого не предполагает, в постах возникает эта тема.

Участники расширяют формат ритуала: как за счет того, что привносят свои смыслы, так и за счет того, что продолжают ритуал в сети. Включенность и творчество показывает их отклик на эту память и на предложенный формат. Когда люди сами создают цифровые следы (посты), они воспроизводят этуй память, или — в рамке, развиваемой Хлевнюк и Максимовой [Хлевнюк, Максимова, 2021; Дженкинс, 2019; Khlevnuyk, 2019] — акция «Возвращение имен» оказывается площадкой для культуры соучастия организаторов и откликнувшихся. С другой стороны, расширение ритуала может оцениваться неоднозначно, как показали интервью с организаторами.

Мы реконструировали способы высказывания в постах в виде аффектов, эмоций и оценок, которые участники демонстрируют в своих постах и с помощью которых они утверждают те или иные смыслы акции (перформативность).

В качестве особенности аффекта мы выделили недискурсивность (хотя и продолжали искать его в дискурсе, но обнаруживали через дискурс соматический и паралингвистический — обращение к телесным метафорам, использование пауз-многоточий и т.д.), противопоставляли его эмоциям и оценкам. Мы приходим к выводу, что онлайн-среда позволяет задокументировать такие, казалось бы, сложно фиксируемые реакции. Посты оказываются более свободным форматом для участников, где, в отличие от непосредственного чтения имен, они вольны добавить что-нибудь от себя, а потому именно там мы скорее наблюдаем обозначенные способы говорения. Можно предположить, что такие цифровые следы акции даже в большей степени позволяют фиксировать переживания участников, чем непосредственно офлайн-наблюдение за чтением имен (хотя есть невербальные реакции — например, слезы, но их порой сложнее проинтерпретировать, чем то, что мы видим в тексте).

Обращаясь к эмотивному репертуару участников — аффекту, эмоциям, оценкам, мы отметили, что обращение к теме трудного прошлого в рамках ритуала коммеморации в большей степени происходит за счет употребления оценочных суждений, нежели аффекта или даже эмоций. Можно предположить, что способы говорения о трудном прошлом во многом сформированы, хотя язык, дискурс не исчерпывает всей полноты переживаний участников. В то же время интересно, что сами участники отмечают свои переживания как возможные триггеры для перехода от чувственного уровня к когнитивному или уровню действий — подобная динамика рассматривается в нерепрезентативных теориях [Sather-Wagstaff, 2017], расширяющих объект изучения социальных наук за счет дискурсивных практик [Micieli-Voutsinas, 2017].

Кроме того, посты обнаруживают использование коллективистского языка, обращение к конструкту «мы — нам», что указывает на манифестацию принадлежности к некоторой общности, на солидаризацию участников ритуала, хоть и вовлекаемых в ритуал с разными мотивами и интерпретациями ритуала. Можно предположить, что продукт ритуала — групповым образом сформированная позиция с эффектом солидаризации или поддержка и воспроизводство этой позиции и солидаризации.

Мы также склонны интерпретировать, что данная коммеморация существует за счет резонирования с потребностями, чувствами участников. Предоставляя публичное онлайн-пространство для открытого выражения этих чувств, оценок, мотивов, ритуал коммеморации, возможно, компенсирует недостаток публичного, институционально поддержанного разговора на тему трудного прошлого.

Остаются под вопросом границы акции и масштаб отклика на нее. С одной стороны, границы заданы тематическим хештегом, хотя хештег используется и в рамках других схожих акций. Трансляция акции длится 12 часов (что соответствует ее обычной длительности при офлайн-проведении, притом в последние годы далеко не все успевали прочитать имена), и, по словам организаторов, не все присланные видео были включены в эту трансляцию ввиду ограничения хронометража. Акция в онлайн-формате не ограничивает участников географически, например, только Москвой, в чем опять же



проявляется демократичность цифровой памяти, хотя проанализированные посты оказались в основном московскими. Остается непонятным — для кого трансляция? Например, на 9 июня 2022 года запись трансляции в YouTube¹ набрала около 7 тысяч просмотров, 283 отметки «нравится» и 8 комментариев. Много это или мало? Кто те люди, что смотрели ее? Смотрели ли они полностью или отрывками? С другой стороны, вероятно, само по себе участие в акции уже ценно для участников и сочувствующих, разделяющих этот образ трудного прошлого, эту память.

В дальнейшей исследовательской перспективе можно обратиться к участникам ритуала лично, а также провести сравнительный анализ с другими кейсами, например, с религиозными акциями или теми, что поддержаны государством. В цифровое продолжение акции нужно углубляться: анализировать контекст, взаимодействие и профили участников. Память в интернете порой предлагает нам больше возможностей, чем мы можем охватить, будучи ограничены временными и иными ресурсами.

Литература

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое Литературное Обозрение, 2014.

Богумил 3., Романов Р. «Стена скорби», музей ГУЛАГа и другие практики мемориализации жертв советских репрессий. Интервью Зузанны Богумил с Романом Романовым // Laboratorium: Russian Review of Social Research. 2018. Т. 10. № 2. С. 157–163.

Деева М. От индивидуального к разделяемому аффекту: постдюркгеймианская традиция в социологии эмоций // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 134–154. EDN: NTYQOX

Дженкинс Γ . Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа. М.: РИПОЛ классик, 2019.

Завадский А., Склез В., Суверина К. Предисловие. Разум и чувства: публичная история в музее // Политика аффекта: музей как пространство публичной истории / Под ред. А. Завадского, В. Склеза, К. Сувериной. М: Новое Литературное Обозрение, 2019.

Зевако Ю. В. Тема «Потомков Палачей» в дискурсе памяти об эпохе политических репрессий (2/2 2010-х — начало 2020-х гг.) // Журнал фронтирных исследований. 2022. Т. 6. № 2. С. 26–46. DOI: https://doi.org/10.46539/ifs.v7i2.392 EDN: EJGBPI

Массуми Б. Автономия аффекта // Философский журнал. 2020. Т. 13. № 3. С. 110–133. DOI: https://doi.org/10.21146/2072-0726-2020-13-3-110-133 EDN: GRPPAN

Николаи Φ . В. Рец. на кн.: Сергей Ушакин, Алексей Голубев (ред.). XX век: письма войны. Антология военной корреспонденции // Антропологический форум. 2018. № 37. С. 233–243. EDN: OUHCKV

Сантино Дж. Перформативные коммеморативы: спонтанные святилища и публичная мемориализация смерти // Фольклор и антропология города. 2019. Т. 2. № 1–2. С. 14–26. EDN: LQBQPT

Хлевнюк Д. О., Максимова А. С. Родины нашего страха: рецепция фильма Юрия Дудя «Колыма» в социальных сетях // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 4. С. 28–46. DOI: https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.4.2

Эппле Н. Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах. М: Новое Литературное Обозрение, 2020.

 $^{^1}$ Общество Мемориал. Возвращение имен. 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jX2lW4aqQzM (дата обращения: 09.06.2022). Общество Мемориал признано в России иноагентом.

Этикинд А.М. Время сравнивать камни. постреволюционная культура политической скорби в современной России // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 33–76. EDN: PCZPPH

Этикинд А. М. Кривое горе: Память о непогребенных. М: Новое литературное обозрение, 2016.

Юдин Г. Б., Хлевнюк Д. О., Максимова А. С., Фархатдинов Н. Г., Рожанский М. Я., Васильева Е.Ю. Аналитический отчет «Какое прошлое нужно будущему России?». 2016.

Armstrong E.A., Crage S.M. Movements and Memory: The Making of the Stonewall Myth // American Sociological Review. 2006. Vol. 71. № 5. P. 724–751. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000312240607100502

Confino A. Collective Memory and Cultural History: Problems of Method // The American Historical Review. 1997. Vol. 102. № 5. P. 1386–1403. DOI: https://doi.org/10.1086/AHR%2F102.5.1386

Conway B. New Directions in the Sociology of Collective Memory and Commemoration // Sociology Compass. 2010. Vol. 4. № 7. P. 442–453. DOI: https://doi.org/10.1111/J.1751-9020.2010.00300.X

Dobrin D. The Hashtag in Digital Activism: A Cultural Revolution // Journal of Cultural Analysis and Social Change. 2020. Vol. 5. № 1. P. 1–14. DOI: http://dx.doi.org/10.20897/jcasc/8298

Erll A., Rigney A. Introduction: Cultural Memory and its Dynamics // Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. 2009. P. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110217384.0.1

Gavrilova S. Regional Memories of the Great Terror: Representation of the Gulag in Russian Kraevedcheskii Museums // Problems of Post-Communism. 2021. P. 1–15. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10758216.2021.1885981

Halbwachs M. The Collective Memory. New York: Harper & Row, 1980.

Khazanov A. M. Whom to Mourn and Whom to Forget? (Re)constructing Collective Memory in Contemporary Russia // Totalitarian Movements and Political Religions. 2008. Vol. 9. № 2–3. P. 293–310. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14690760802094917

Khlevnyuk D. O. Narrowcasting Collective Memory Online: "Liking" Stalin in Russian Social Media // Media, Culture & Society. 2019. Vol. 41. № 3. P. 317–331. DOI: https://doi.org/10.1177/0163443718799401

Knudsen B. T., Ifversen J. Commemoration, Heritage, and Affective Ecology–The Case of Utøya // Heritage, Affect and Emotion–Politics, Practices and Infrastructures / Ed. by D. P. Tolia-Kelly, E. Waterton, S. Watson. London: Routledge, 2017. P. 219–236.

Malinova O. U. Constructing the "Usable Past": the Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet Russia // Cultural and Political Imaginaries in Putin's Russia / Ed. by N. Bernsand, B. Törnquist-Plewa. Boston: Brill, 2018. P. 85–104.

Merrill S., Keightley E., Daphi P. Introduction: The Digital Memory Work Practices of Social Movements // Social Movements, Cultural Memory and Digital Media / Ed. by S. Merrill, E. Keightley, P. Daphi. 2020. P. 1–30. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-32827-6_1

Micieli-Voutsinas J. An Absent Presence: Affective Heritage at the National September 11th Memorial & Museum // Emotion, Space and Society. 2017. Vol. 24. P. 93–104. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.emospa.2016.09.005

Munroe L. Constructing Affective Narratives in Transatlantic Slavery Museums in the UK // Heritage, Affect and Emotion: Politics, Practices and Infrastructures. 2016. P. 114–132.

Olick J. K., Robbins J. Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic Practices // Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24. № 1. P. 105–140. DOI: https://doi.org/10.1146/ANNUREV.SOC.24.1.105

Sather-Wagstaff J. Making Polysense of the World // Heritage, Affect and Emotion: Politics, Practices and Infrastructures / Ed. by D. P. Tolia-Kelly, E. Waterton, S. Watson. New York: Routledge, 2017. P. 12–31.

Schwartz B. Rethinking the Concept of Collective Memory // Routledge International Handbook of Memory Studies / Ed. by D. P. Tolia-Kelly, E. Waterton, S. Watson. New York: Routledge, 2016. P. 9–21.



Winter J. Introduction. The Performance of the Past: Memory, History, Identity // Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe / Ed. by K. Tilmans, F.V. Vree, J. M. Winter. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. P. 11–35. DOI: https://doi.org/10.5117/9789089642059

Сведения об авторе:

Даутова Татьяна Евгеньевна — студент магистратуры, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail**: te.dautova@gmail.com. **ORCID**: 0000-0001-8152-1817; **ResearcherID**: GYV-5843-2022.

Статья поступила в редакцию: 05.11.2022 Принята к публикации: 10.12.2022

Memory of the Repressed: Online Ritual of Commemoration "Returning the Names"

DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.5

Tatyana E. Dautova HSE University, Moscow, Russia E-mail: te.dautova@gmail.com

In this article, we will consider the formal and semantic extension of the action-ritual of commemoration of the repressed "Returning the Names", as well as the emotional characterization of participation. The memory of repressions is a difficult memory, that is more likely to be maintained "from below" — relatively low-resource actors. In this context, the Internet seems to be a promising platform for broadcasting such memory. We will consider the performativity of the ritual of commemoration, that is, the way how the participants of the ritual participate in remembrance and express their political and civic position, evaluate repressions and emotionally refer to them. In the article we use emotive markers (affect, emotions, evaluations) as a range of expressiveness for talking about difficult past. We analyzed 157 selected in social networks publications. According to the results obtained, online commemoration of the difficult past is more associated with the use of value judgments, rather than with traces of affect or even emotions, which means that ways of speaking about repressions are largely formed, although the language, discourse does not exhaust the fullness of the participants` experiences.

Keywords: affect; digital traces; memory; emotions; performativity; repressions; ritual

References

Armstrong E. A., Crage S. M. (2006) Movements and Memory: The Making of the Stonewall Myth. *American Sociological Review*. Vol. 71. No. 5. P. 724–751. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/000312240607100502

Assman A. (2014) *Ten' Proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics]. Moscow: NLOBooks. (In Russ.)

¹ This research is supported by the Faculty of Social Sciences, HSE University.

Bogumil Z., Romanov R. (2018) "Stena skorbi", muzej GULAGa i drugie praktiki memorializacii zhertv sovetskih repressij. Interv'yu Zuzanny Bogumil s Romanom Romanovym [The "Wall of Sorrow", the Gulag Museum and Other Practices of Memorializing Victims of Soviet Repression. Interview of Zuzanna Bogumil with Roman Romanov]. *Laboratorium: Russian Review of Social Research*. Vol. 10. No. 2. P. 157–163. (In Russ.)

Confino A. (1997) Collective Memory and Cultural History: Problems of Method. *The American Historical Review*. Vol. 102. No. 5. P. 1386–1403. DOI: https://doi.org/10.1086/AHR%2F102.5.1386

Conway B. (2010) New Directions in the Sociology of Collective Memory and Commemoration. *Sociology Compass.* Vol. 4. No. 7. P. 442–453. DOI: https://doi.org/10.1111/J.1751-9020.2010.00300.X

Deeva M. (2010) Ot individual'nogo k razdelyaemomu affektu: postdyurkgejmianskaya tradiciya v sociologii emocij [From Individual to Shared Affect: the Post-Durkheimian Tradition in the Sociology of Emotions]. *Sociologicheskoe obozrenie* [Sociological Review]. Vol. 9. No. 2. P. 134–154. (In Russ.) EDN: NTYQOX

Dobrin D. (2020) The Hashtag in Digital Activism: A Cultural Revolution. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*. Vol. 5. No. 1. P. 1–14. DOI: http://dx.doi.org/10.20897/jcasc/8298

Epple N. (2020) *Neudobnoe proshloe: pamyat' o gosudarstvennyh prestupleniyah v Rossii i drugih stranah* [An Inconvenient Past: the Memory of State Crimes in Russia and Other Countries]. Moscow: NLOBooks. (In Russ.)

Erll A., Rigney A. (2009) *Introduction: Cultural Memory and its Dynamics. Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory*. P. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110217384.0.1

Etkind A.M. (2016) *Krivoe gore: Pamyat' o nepogrebennyh* [Crooked Mountain: The Memory of the Unburied]. Moscow: NLOBooks.

Etkind A. M. (2004) Vremya sravnivat' kamni. postrevolyucionnaya kul'tura politicheskoj skorbi v sovremennoj Rossii [It's Time to Compare the Stones. Post-revolutionary Culture of Political Grief in Modern Russia]. *Ab Imperio*. No. 2. P. 33–76. (In Russ.) EDN: PCZPPH

Gavrilova S. (2021) Regional Memories of the Great Terror: Representation of the Gulag in Russian Kraevedcheskii Museums. *Problems of Post-Communism*. P. 1–15. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10758216.2021.1885981

Halbwachs M. (1980) The Collective Memory. New York: Harper & Row.

Jenkins G. (2019) *Konvergentnaya kul'tura. Stolknovenie staryh i novyh media* [Convergent Culture. The Clash of Old and New Media]. Moscow: RIPOL Classic. (In Russ.)

Khazanov A.M. (2008) Whom to Mourn and Whom to Forget? (Re)constructing Collective Memory in Contemporary Russia. *Totalitarian Movements and Political Religions*. Vol. 9. No. 2–3. P. 293–310. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14690760802094917

Khlevnyuk D. O. (2019) Narrowcasting Collective Memory Online: "liking" Stalin in Russian Social Media. *Media, Culture & Society*. Vol. 41. No. 3. P. 317–331. DOI: https://doi.org/10.1177/0163443718799401

Khlevnyuk D.O., Maksimova A.S. (2021) Rodiny nashego straha: recepciya fil'ma YUriya Dudya «Kolyma» v social'nyh setyah [Birthplaces of Our Fear: Reception of Yuri Dud's Documentary "Kolyma" in Social Media]. *Interakciya. Interv'yu. Interpretaciya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 13. No. 4. P. 28–46. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.4.2

Knudsen B.T., Ifversen J. (2017) Commemoration, Heritage, and Affective Ecology–The case of Utøya. In: D.P. Tolia-Kelly, E. Waterton, S. Watson (eds.) *Heritage, Affect and Emotion–Politics, Practices and Infrastructures*. London: Routledge. P. 219–236.

Malinova O. U. (2018) Constructing the "Usable Past": the Evolution of the Official Historical Narrative in Post-Soviet Russia. In: N. Bernsand, B. Törnquist-Plewa (eds.) *Cultural and Political Imaginaries in Putin's Russia*. Boston: Brill. P. 85–104.

Massumi B. (2020) Avtonomiya affekta [Effect autonomy]. *Philosophy Journal*. Vol. 13. No. 3. P. 110–133. DOI: https://doi.org/10.21146/2072-0726-2020-13-3-110-133 EDN: GRPPAN



Merrill S., Keightley E., Daphi P. (2020) Introduction: The Digital Memory Work Practices of Social Movements. In: S. Merrill, E. Keightley, P. Daphi (eds) *Social Movements, Cultural Memory and Digital Media*. P. 1–30. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-32827-6_1

Micieli-Voutsinas J. (2017) An Absent Presence: Affective Heritage at the National September 11th Memorial & Museum. *Emotion, Space and Society*. Vol. 24. P. 93–104. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.emospa.2016.09.005

Munroe L. (2016) Constructing Affective Narratives in Transatlantic Slavery Museums in the UK. *Heritage, Affect and Emotion: Politics, Practices and Infrastructures.* P. 114–132.

Nikolai F.V. (2016) Rec. na kn.: Sergey Ushakin, Aleksey Golubev (eds.). XX vek: pisma voiny. Antologiy voennoy korrespondencii [Book Review: Sergey Ushakin, Alexey Golubev (eds.). The Twentieth Century: Letters of War. Anthology of Military Correspondence]. *Antropologicheskij forum* [Forum for Anthropology and Culture]. No. 37. P. 233–243. (In Russ.) EDN: OUHCKV

Olick J. K., Robbins J. (1998) Social Memory Studies: From "Collective Memory" to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. *Annual Review of Sociology*. Vol. 24. No. 1. P. 105–140. DOI: https://doi.org/10.1146/ANNUREV.SOC.24.1.105

Santino D. (2019) Performativnye kommemorativy: spontannye svyatilishcha i publichnaya memorializaciya smerti [Performative Memoratives: Spontaneous Sanctuaries and Public Memorialization of Death]. *Fol'klor i antropologiya goroda* [Urban Folklore and Anthropology]. Vol. 2. No. 1–2. P. 14–26. (In Russ.) EDN: LOBOPT

Sather-Wagstaff J. (2017) Making Polysense of the World. In: D. P. Tolia-Kelly, E. Waterton, S. Watson (eds) *Heritage, Affect and Emotion: Politics, Practices and Infrastructures*. New York: Routledge. P. 12–31.

Schwartz B. (2016) Rethinking the Concept of Collective Memory. In: D. P. Tolia-Kelly, E. Waterton, S. Watson (eds.) *Routledge International Handbook of Memory Studies*. New York: Routledge. P. 9–21.

Winter J. (2010) Introduction. The Performance of the Past: Memory, History, Identity. In: K. Tilmans, F.V. Vree, J.M. Winter (eds.) *Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe.* Amsterdam: Amsterdam University Press. P. 11–35. DOI: https://doi.org/10.5117/9789089642059

Yudin G.B., Khlevnyuk D.O., Maksimova A.S., Farhatdinov N.G., Rozhanskij M.YA., Vasil'eva E.YU. (2016) *Analiticheskiy otchet "Kakoe proshloe nuzhno budushchemu Rossii?"* [Analytical Report "What Kind of Past Does the Future of Russia Need?"]. (In Russ.)

Zavadskij A., Sklez V., Suverina K. (2019) Predislovie. Razum i chuvstva: publichnaya istoriya v muzee [Preface. Mind and Feelings: A Public History in a Museum]. In: A. Zavadskij, V. Sklez, K. Suverina (eds.) *Politika affekta: muzej kak prostranstvo publichnoj istorii* [The Politics of Affect: the Museum as a Space of Public History]. Moscow: NLOBooks. (In Russ.)

Zevako YU.V. (2022) Tema "Potomkov Palachey" v diskurse pamyati ob epohe politicheskinh repressij (2/2 2010-h — nachalo 2020-h gg.) [The Theme of "Descendants of the Executioners" in the Discourse in Memory of the "Era Political Repressions" (2/2 2010s — early 2020s)]. *Zhurnal Frontirnyh Issledovanij* [Journal of Frontier Studies]. Vol. 6. No. 2. P. 26–46. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.46539/jfs.v7i2.392 EDN: EJGBPI

Author bio:

Tatyana E. Dautova — MA Student, HSE University, Moscow, Russia. **E-mail:** te.dautova@gmail.com. **ORCID**: 0000-0001-8152-1817; **ResearcherID**: GYV-5843-2022.

Received: 05.11.2022 **Accepted:** 10.12.2022

ИНТЕР-энциклопедия качественных методов



DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.6

EDN: UIMIGI

ИНТЕР-энциклопедия: метод картографирования телесности

Ссылка для цитирования:

Старцев С.В. ИНТЕР-энциклопедия: метод картографирования телесности // Интервкция. Интервью. Интерпретация. 2022. Т. 14. № 4. С. 110–125. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.6. EDN: UIMIGI For citation:

Startsev S.V. INTER-Encyclopedia: Body Mapping. *Interaction. Interview. Interpretation.* Vol. 14. No. 4. P. 110–125. https://doi.org/10.19181/inter.2022.14.4.6.





Старцев Сергей Вячеславович

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

E-mail: sstartsev@hse.ru

В статье рассматриваются методические особенности и эвристические границы метода реализации качественной стратегии исследования в социологии — телесного картирования. Помимо описания преимуществ этого метода в исследованиях здоровья и болезни, а также других областях, связанных с социальным познанием телесности, приводится краткий обзор методических шагов, которые необходимо предпринять при использовании метода картирования тела. Описываются этапы внедрения данного метода в социологическую дисциплину из арт-терапевтических практик, в которых картирование тела продемонстрировало себя как нестандартный способ получения эвристичной экстралингвистической информации.

Ключевые слова: картирование тела; арт-методы в качественных исследованиях; телесное картирование

В качественной традиции социологических наук наиболее распространенным методом сбора данных является интервьюирование. За все время



использования этого метода интервьюирование претерпело ряд значительных изменений. Во-первых, появилось множество различных вариаций интервьюирования: биографическое [Рождественская, 2012], этнографическое [Полухина, 2010], тандемное [Багина и др., 2021], биографическая прогулка [Ваньке и др., 2020]. Во-вторых, внешние условия — такие как, например, пандемия COVID-19 — также внесли коррективы в формат проведения интервью. Использование средств видеосвязи стало легитимным инструментом реализации качественного социологического исследования [Бекки, 2021], который, тем не менее, имеет свои специфические ограничения и барьеры, и исследователь должен учитывать их [Lobe et al., 2022].

Помимо материальных средств, опосредующих проведение интервью, и методологических аспектов, определяющих фокус и детализацию интервью, последнее в ходе своего существования в качестве самостоятельного метода расширяет свой функционал с помощью дополнительных инструментов и средств. Одно из них — метод телесного картирования, известный в англоязычной исследовательской среде как body mapping (телесное картирование) или body map storytelling (сторителлинг телесной карты). Именно обзору этой исследовательской практики будет посвящена данная статья.

Детальная и исчерпывающая дефиниция телесного картирования была представлена наиболее авторитетным пользователем этого метода — канадской исследовательницей Дениз Гастальдо. Она предлагает определять карты тела как изображения человеческого тела в натуральную величину, в то время как картирование тела — это процесс создания карт тела с использованием рисунка, живописи или других художественных техник для визуального представления аспектов жизни людей, их тел и мира, в котором они живут. Отображение тела является способом рассказывать истории, очень «похожие на тотемы, содержащие символы с различными значениями, которые можно понять только в связи с общей историей и опытом носителя» [Gastaldo et al., 2012: 5].

Картирование тела относится к арт-методикам, которые начали активно проникать в социологический исследовательский инструментарий в начале 1990-х годов. Включение арт-методов в репертуар социологической методологии обусловлено тем, что они положительно зарекомендовали себя в работе с маргинализированными и стигматизированными группами в рамках арт-терапии. Использование визуальных и креативных методов «позволило исследователям получить полное представление о том, как люди думают о своей собственной жизни и идентичности, что на них влияет и какие инструменты они используют в этом мышлении, так как именно эти вещи являются строительными блоками социальных изменений» [Gauntlett, Holzwarth, 2006: 8].

Так как метод тесно связан с категорией телесности, его применение в процессе арт-терапии сопряжен с переживанием ряда телесных состояний, связанных преимущественно со здоровьем и болезнью, насилием и маргинализированными и стигматизированными практиками. Именно по этой причине использование экстравербализированных методов сбора данных открывает способ, во-первых, более детально очертить связь между

внутренними состояниями и ощущением телесности, а во-вторых, предоставить возможность тем информантам, которые не обладают достаточным ресурсом для артикуляции своих мыслей в рамках вербального интервью, полноценно выразить свои мысли, представления и верования [Dew et al., 2018; Linell, 2009].

В чем же заключается сложность использования традиционных для социологических исследований методик при изучении подобного рода тем: здоровья, болезни, телесности и т.д.?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует сделать одно существенное замечание, касающееся исследований в описанных нами областях. Ряд исследовательских направлений в области здравоохранения развивались, чтобы охватить всю полноту здоровья человека как социального, политического и экономического явления. Дэвид Нейпир и др. [2014] утверждают, что неспособность использовать традиционные — вербальное интервью и опросные инструменты — исследовательские методологии, сфокусированные на критическом анализе социальных структур, иерархических практик и культурном их понимании, является самым большим препятствием, с которым в настоящее время сталкиваются исследователи здоровья и болезни, а также менеджеры здравоохранения.

Картирование тела потенциально может способствовать изучению этого явления, поскольку предыдущие исследования определили картирование как ценный подход к изучению пересечений «социально контекстуальных факторов, влияющих на здоровье и благополучие» и как «эффективное средство для изображения социальных процессов и отношений, которое обладает способностью символически представлять способы взаимодействия телесности агентов и культурные значения, которые агенты придают этим отношениям» [De Jager, 2016: 16].

В процессе развития этот метод перестал быть просто способом сбора качественных данных, но превратился также в область методической рефлексии, став объектом дебатов о связи между теорией и дизайном, роли участников, визуальных и повествовательных элементах для анализа и т.д. [Carter, 2007].

Истоки картирования тела: от арт-терапии к исследовательскому инструменту в социальных науках

Впервые картирование тела было использовано психологами-практиками и художниками из ЮАР, идейным лидером которых была Джейн Соломон. В конце 1990-х годов в ЮАР возникла серьезная проблема профилактики ВИЧ-инфекции. Республиканским правительством была предпринята инициатива «Шкатулка памяти», направленная на гуманитарную помощь ВИЧ-положительным родителям подготовиться к смерти, а также подготовить своих детей к факту ухода родителя из жизни. Терапевтическая работа производилась с помощью украшения шкатулки ручной работы, в которые обычно матери помещали сентиментальные или биографические предметы для своих детей [Gastaldo,



2018]. В процессе терапии многие участники пожелали рассказать свои биографические истории более широкой аудитории, что во многом предопределило не только эпистемическую ценность этого метода, но и его социальную миссию: терапевтическая функция, адвокация маргинализированных и стигматизированных групп, а также непосредственное производство социального знания.

В силу того, что исследователи в процессе использования телесного картирования как аналитического инструмента руководствовались преимущественно терапевтическими и креативными источниками, методическая рефлексия по поводу картирования была сформулирована уже постфактум. Далее приведем несколько преимуществ метода, описанных Д. Соломон [2002]:

- Терапевтический инструмент: метод позволяет развивать свежие идеи, находить новые направления, исследовать идентичность и социальные отношения, а также рефлексировать над полученными результатами самим участникам.
- Инструмент информирования: картирование тела хорошо работает в качестве просветительской практики для людей. Оно, например, стимулирует индивидов, живущих с ВИЧ и СПИДом, к приобретению необходимых им для поддержания своего физического, психического и социального благополучия навыков. Семинары по картированию тела также могут помочь людям лучше понять процесс своего лечения. Например, повысить их осведомленность о побочных эффектах АРВ-препаратов в ВИЧ-терапии, а также рассказать больше о том, как работает их организм.
- Инструмент исследования: карты тела хорошо работают как инструмент коллективного качественного исследования. Рисунки и живописные работы сами по себе являются данными, а также могут быть дополнены интервью или письменными работами.
- Инструмент просоциальной пропаганды: отдельные карты тела можно показывать на выставках, оформлять в виде книг или публиковать на веб-сайте. Карты тела передают чувства, мысли и идеи, а также способны повысить осведомленность населения о политических, личных и социальных проблемах. Кроме того, они могут привлечь общественное внимание к проблемам общественного здравоохранения.
- Биографический инструмент: карты тела можно использовать, чтобы *показывать* и *рассказывать* истории жизни людей и важные для них отношения.

Такое использование картирования тела определило его включение в исследования здоровья и болезни. Например, в Кении карты тела использовались для пропаганды и терапии в различных проектах с маргинализированными группами, такими как люди, живущие с ВИЧ, или сироты [Solomon, 2002]. В Японии карты тела применялись для выставки активисток, посвященной здоровью женщин¹. В сфере образования карты тела использовались для

¹ Trust for Indigenous Culture and Health. Our positive bodies. Mapping our treatment, sharing our choices. 2015. URL: http://ticahealth.org/?p=1 (accessed 29 October 2022).

подготовки медсестер (в Канаде) [Maina, 2014], а также в сфере сексуального образования — в последнем случае картирование тела позволяет преодолеть маргинализированный дискурс о сексуальности и рассматривать ее как неотъемлемую часть социальной жизни. Причина подобных изменений заключается в том, что предложены иные визуальные способы выражения позиции, поскольку экстралингвистические приемы, в отличие от языка, в большей степени свободны от властных и иерархических диспозиций.

Использование картирования тела для того, чтобы преодолеть маргинализацию различных исследовательских областей, касается не только телесности в ее сексуальном измерении или статусе здоровья/нездоровья, но затрагивает ряд других важных проблем, актуальных для социальных наук. В исследовании Фай Дэниз предпринимается попытка синтезировать акторно-сетевую теорию, демаргинализирующий подход к изучению наркопотребления и критику физиологического детерминизма. Дэниз прибегает к методу картирования тела в изучении наркопотребителей, и предложенная ею прагматическая цель применения этого метода — создать условия для того, чтобы «<...> показывать тела как своего рода последовательное отображение объектов, вещей и знаний. Исследователь, придавая равный вес этим сущностям и силам, делает внечеловеческие объекты столь же важными, как и человеческие субъекты» [Dennis, 2020]. Такое использование метода подчеркивает его гибкие методические границы и легкость, с которой он синтезируется с современными социологическими оптиками.

Кроме того, картирование тела практикуется вместе с фокус-группами для оценки государственных программ в области здравоохранения — в исследовании, в котором изучался опыт взаимодействия с институтами здравоохранения у больных фибромиалгией, для лечения которых использовалось картирование тела, чтобы проанализировать, как на уровне телесности воспринимают такое взаимодействие заболевшие [Skop, 2016].

Как было отмечено выше, картирование тела может применяться не только в проектах, нацеленных на изучение маргинализированных или стигматизированных жизненных траекторий и практик, но и в тех случаях, когда исследовательский вопрос касается телесного измерения изучаемого феномена. С этой целью исследователи, которые изучают (не)здоровье и (не)благополучие в связи с применением пестицидов в сельском хозяйстве в Таиланде, использовали картирование тела, чтобы наглядно отражать и демонстрировать симптомы отравления ядовитыми веществами у работников сельского хозяйства [Danida, 2002].

Методические процедуры картирования тела

Картирование лишь в редких случаях выступает самостоятельным методом исследования и чаще всего дополняет интервьюирование и/или дискуссию на фокус-группе. Регламент реализации картирования тела является конвенциональным и детально описан в текстах зачинателей этого исследовательского



метода Джейн Соломон и Дениз Гастальдо. Далее мы обозначим конкретные шаги, из которых состоит процедура картирования тела.

Гайд телесного картирования оформляется в стандартном для качественной традиции виде — систематизируются темы, которые будут выступать основными стимулами для участников формировать свою телесную карту. Эти темы могут быть подразделами одного генерального сюжета, которые его уточняют, или представлять собой самостоятельные блоки вопросов: опыт осознания болезни, взаимодействие с институтами системы здравоохранения и пр.

Перед тем как предоставить информантам возможность самим провести картирование собственного тела, следует сделать несколько важных организационных ремарок. Во-первых, участникам следует предоставить максимально возможное число способов художественной выразительности своих идей: цветные карандаши, маркеры, мелки, краски, разнообразные виды картона и бумаги (гофрированный, цветной, матовый, хромированный и пр.), стразы и глиттеры. Ряд исследователей предлагают использовать в том числе хозяйственные материалы: нитки, проволоку, паклю и прочее. Кроме того, продуктивно привнесение различных печатных материалов: газетных и журнальных вырезок, фотографий (личных и скачанных из свободного доступа). Это помогает участникам использовать уже готовые образы, которые, на их взгляд, лучше всего отражают их мысль, а комбинирование их авторских рисунков и печатных изображений превращает телесную карту в многослойный коллаж [Skop, 2016]. После этого модератор исследования в рамках инструктирования предоставляет участникам свою собственную карту тела, чтобы предметно продемонстрировать информантам референсы того, как будет выглядеть их телесная карта [Skop, 2016]. В анализируемой нами литературе мы не нашли единства мнений по поводу демонстрации собственной телесной карты, однако следует заметить, что такая практика напоминает процесс автоэтнографии — она позволяет лучше прочувствовать исследовательский инструментарий и интроспективно фокусироваться на наиболее важных исследовательских вопросах [Рогозин, 2015]. Таким образом, демонстрация участникам карты тела не только знакомит с референсами, но и помогает самому исследователю лучше понять свою исследовательскую задачу и метод, который избран.

После инструктирования участников последние начинают работать над своими телесными картами. Это контуры тела самих информантов, которые они рисуют от руки на больших листах плотной бумаги или картона: телесные карты всегда должны быть изображены именно в полный рост, в масштабе 1:1. Как правило, исследовательские сессии разбиваются на несколько частей и проводятся в течение двух-четырех дней. Например, в исследовании, посвященном изучению заболевших фибромиалгией, четыре сессии, которые соответствовали четырем дням, информанты создавали свои телесные карты в соответствии с несколькими тематиками: персональные симптомы, диагностический журнал, забота и уход (внешние и ауто), взаимодействие с организациями здравоохранения.

INTER, 4'2022

На конкретном примере рассмотрим реализацию телесного картирования как исследовательского метода. Ниже представлена телесная карта информанта, являвшегося участником проекта, в котором исследовался опыт нелегальной миграции.

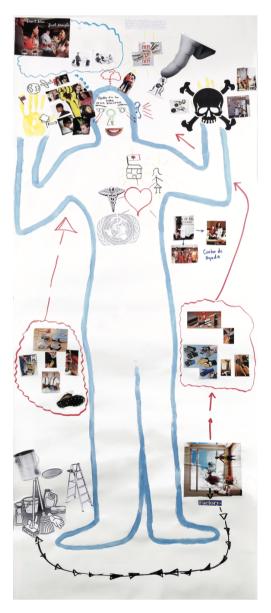


Рисунок 1. Пример телесной карты *Источник:* [Gastaldo et al., 2012: 4].

После того как карта тела была нарисована и все ее элементы были на ней отражены, участникам предлагалось дать некоторые вербальные комментарии,



которые в ряде случаев могли быть сопряжены с процессом интервьюирования участников. Такие комментарии, называемые в рамках актуального методического словаря testimonio, позволяют дать некоторые пояснения к карте, формирующие параллельный визуальным данным вербальный контекст [Dew et al., 2018]. Из testimonio впоследствии формируются ключи (keys), необходимые для интерпретации символов и слоганов, используемых на карте. Ниже мы приводим пример testimonio применительно к телесной карте, изображенной на Рисунке 1.

«Меня зовут Андрес, и я приехал изучать английский в частную школу. Моя девушка уже была здесь, и теперь я живу с ней и ее другом в кондоминиуме. Вот уже два года я работаю маляром, и когда работы мало, то я подрабатываю на фабрике, чтобы покрыть свои расходы на проживание. Но я ненавижу фабричную работу! Они обращаются с тобой как с мусором, и я этого не терплю. Моя семья, они против того, чтобы я был здесь. Они говорят, что я должен вернуться и найти работу в своем родном городе. Моя мама беспокоится обо мне и даже покупает мне частную медицинскую страховку. Но пока что мне здесь весело. Я встречаюсь со многими людьми, узнаю много нового о канадской культуре и практикую свой английский, что поможет мне в дальнейшем. Мне действительно нравится Канада, но что [меня] сдерживает, так это то, что я не могу найти здесь работу по специальности из-за своего статуса» [Gastaldo, 2012: 40].

Как мы отмечали выше, заключительным полевым этапом картирования тела является проговаривание и артикуляция ключей к изображенному на карте. Ниже мы указываем пример таких ключей, касающихся изображенной выше карты тела.

«Поза тела: На моей карте тела я широко раскинул руки, чтобы показать свою восприимчивость к новым возможностям обучения в Канаде. Переезд в Канаду позволил мне повзрослеть как личности, выучить английский, познакомиться с новыми людьми и работать по разным профессиям. Я веду очень спокойный образ жизни в Канаде и верю, что смогу добиться успеха в жизни, даже несмотря на то, что большинство рабочих мест, доступных для таких работников, как я, считаются каторжными.

Цвета: Я выбрал светло-голубой для своих телесных линий, потому что этот цвет передает ощущение спокойствия, которое я испытываю в Канаде. Я покрасил свои руки в желтый цвет, чтобы символизировать финансовое процветание, которое даст мне Канада.

Миграционное путешествие: Когда я думаю о возвращении домой, у меня возникают яркие воспоминания о моей жизни там, поэтому я представил некоторые из этих образов рядом с моей головой. Причиной приезда в Канаду было знакомство с новыми людьми из разных

культур и улучшение моих языковых навыков. Это заключено в пузыре над моей головой. У меня был целый ряд работ в Канаде, включая покраску, уборку и работу на фабрике. Я разместил эти вакансии в левом нижнем углу рядом со своей ногой, потому что хотел показать, что это низкооплачиваемая работа и что она считается "низкоквалифицированной". Но я не ставил их ниже своих ног, потому что эта работа не обязательно унизительна или грязна. Это уважаемая работа.

Личный символ: Я выбрал увеличительное стекло, чтобы представить свое миграционное путешествие, и поместил его перед своим лицом, а также увеличил свои глаза и уши, чтобы показать, зачем я приехал в Канаду, а именно, чтобы увидеть и узнать что-то новое.

Слоган: Я верю, что все в жизни является частью процесса, и я выбрал это в качестве своего слогана, так как мой опыт в Канаде — только этап в моей жизни, а не что-то постоянное. Я вывесил свой лозунг у себя на лбу, потому что это очень важно для выбора, который я делаю в жизни.

Отметины на коже / под кожей: Мой опыт работы в качестве работника без документов в Канаде был очень трудным, потому что я чувствую, что работники без документов должны работать больше, чем остальные. Изображение мужчины, моющего окно на морозе, в правом нижнем углу, рядом с моей ногой, отражает мой опыт работы временным рабочим на фабрике. Здесь от меня ожидали, что я буду работать усерднее, в то время как другие люди, такие как супервизоры и постоянный персонал, наблюдали за тем, как я выполняю всю работу, что очень похоже на людей, сидящих в помещении на этой фотографии. Люди, наблюдающие за происходящим изнутри, также представляют лучшие возможности трудоустройства, которые были бы доступны мне, если бы у меня был легальный статус в Канаде или если бы я вернулся работать домой, поскольку у меня университетское образование. Когда я сравниваю работы, которые у меня были, работа на фабрике и в сфере обслуживания выделяются как худшие, потому что, в отличие от малярной, строительной или другой подрядной работы, где вы можете освоить профессию, у вас редко есть шанс стать самим себе начальником на фабрике или в клининге, и вы не зарабатываете столько денег. Я представляю это различие в ситуации, помещая инструменты и оборудование, которые используются в подрядных секторах, выше тех, которые представляют собой производственные и клининговые работы. Я также добавил красные стрелки из списка лучших рабочих мест к изображению с надписью "Каждый доллар на счету" и черные стрелки между другими рабочими местами, которые ограничивают профессиональную мобильность. Хотя я знаю, что строительные работы лучше оплачиваются, я никогда не занимался строительными работами, потому что это очень опасно. Я не могу позволить себе получить здесь серьезную травму, поэтому я пред-ставляю, что держусь подальше от опасных работ, повесив на руку



знак токсикологического контроля. Логотип Всемирной организации здравоохранения и медицинский символ возле моего сердца означают, что у меня хорошее здоровье и что у меня есть частная медицинская страховка» [Gastaldo, 2012: 41].

Анализ данных телесного картирования

Говоря об общих принципах анализа полевых материалов телесного картирования, стоит отметить, что анализ визуальных данных представляет собой баланс индуктивных процессов, позволяющих изображениям говорить самим за себя, и дедуктивных процессов, при которых используются принципы структурирования, полученные из теории [Spencer, 2011]. Тем не менее существуют принятые подходы, когда в ходе анализа оперируют «тропоподобной интерпретацией», то есть исследователи переходят от визуального материала к метафорам, рамкам или укоренившимся культурным знаниям почти рефлекторно [Spencer, 2011]. Бэнкс считает, что для понимания скрытого и менее очевидного значения, исследователи должны быть готовы вникать глубже очевидного прочтения и понимать, что два изображения как бы одного и того же не будут иметь одинакового прочтения [Banks, 2007].

Хотя использование визуальных методов получает все большее распространение, среди исследователей существует относительный недостаток понимания того, насколько строго следует анализировать визуальные образы [Drew, Guillemin, 2010]. Это касается также данных, получаемых в ходе телесного картирования. Поэтому ключевой недостаток описываемого метода — анализ данных в большей степени зависит от воображения и креативного капитала самого исследователя и позволяет с равной вероятностью получать как насыщенные смыслом интерпретации, так и отражение невалидных ожиданий и креативных образов самого исследователя.

Тем не менее в рамках нашего обзора мы можем сформулировать две наиболее распространенные стратегии анализа полученных данных.

Первая стратегия основывается на тематическом анализе, когда отдельные нарративные элементы ключей, testimonio и телесной карты кладутся в основу авторской интерпретации. Пример такого анализа представлен в Таблице 1.

Вторая стратегия реализуется с помощью кодирования ключей, testimonio и телесной карты. В рамках этой процедуры исследователи кодируют вербальную интерпретацию карты, которую предоставляют участники, как это происходит в ординарном интервью, то есть с помощью обоснованной теории [Skop, 2016.]. Далее исследователи кодируют элементы телесной карты. В эту часть кодирования входит учет содержательных элементов — надписей, символов, рисунков, заметок, а также визуальной составляющей: цвета, линий, геометрических фигур и пр. Само кодирование происходит обычно с помощью специализированных программ, например, NVivo. В дальнейшем коды укрупняются и на их основании развивается интерпретация полученных данных.

Таблица 1
Таблица с результатами кодировки отдельных элементов телесной карты

Уровень анализа	Изображения от участников и описание анализа	
Композиционный уровень анализа	Вся эта карта была сосредоточена вокруг сердца участницы, что говорит о том, что внимательность занимала очень важное место	Эта участница использовала яркие цвета, демонстрируя, что ее жизнь становится более яркой благодаря осознанности
	в ее эмоциях и жизни	
Семиотический уровень анализа	Одна участница нарисовала символ мира, чтобы выразить чувство спокойствия, которое она испытывает порой в хаотичной жизни	Это одно из многих нарисованных участниками изображений, которые свидетельствовали об их готовности принимать все свои эмоции, хотя на первый взгляд это изображение может быть истолковано как печаль

[McCorquodale, DeLuca, 2020]



Уровень анализа	Изображения от участников и описание анализа	
Дискурсивный уровень анализа	was sugginal former	Это ноги участницы, стоящей на глобусе, представляющие ее глобальный, а не индивидуалистический способ существования в мире
	Это был сильный сигнал об от-	
	казе от культурных дискурсов	
	о воспитании детей и браке (через метафору тюрьмы)	

Заключение

Картирование тела становится важным методом в социальных исследованиях телесности, здоровья и болезни [Cregan, 2006]. Не только эвристический потенциал данного метода, но и терапевтическая функция делают телесное картирование важным инструментом социологического познания, потенциал которого в российской академической среде пока еще не в полной мере оценен. В текущих условиях развития социальных наук в России все еще присутствует маргинализация тех исследователей, которые занимаются изучением сексуальности, здоровья и болезни в их телесном измерении, насилия и пр. Синтез арт-методик с точки зрения как сбора данных, так и их финального представления может помочь сдвинуть статус-кво по отношению к описанным областям, наглядно продемонстрировав богатый набор смыслов, который может получать исследователь, в том числе с помощью телесного картирования.

Описанный метод не лишен недостатков. Слабой стороной телесного картирования является невозможность его содержательной «проверки». Большинство исследователей, использующих методику, зачастую отсылают в своих интерпретациях к своим прошлым исследовательским интуициям и тропам, «видя в рисунках то, что уже хотят увидеть». Тем не менее широта интерпретативного потенциала, заложенного в телесных картах, позволяет «переоткрывать» уже увиденные смыслы, а также находить новые. Исследователи

должны критично оценивать свой опыт в ходе использования метода и четко осознавать, что в значительной мере от их опыта и бэкграунда будет зависеть как техническая сторона проведенного картирования, так и анализ полученных данных.

Литература

Багина Я.А., Говорова А.Д., Нарьян С.К. «Один в поле не воин» или «третий лишний»? Тандемные интервью в качественном исследовании // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 4. С. 53–76. DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.4.1986 EDN: BPKUWU

Бекки С. Как провести интервью во время и после пандемии COVID-19 // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2021. Т. 13. № 4. С. 9–27. DOI: https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.4.1

Ваньке А.В., Полухина Е.В., Стрельникова А.В. Как собрать данные в полевом качественном исследовании. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.17323/978-5-7598-1960-8

Полухина Е.В. Этнографический метод в отечественных социологических исследованиях // Социологические исследования. 2010. № 7. С. 143–147. EDN: MSNRMH

Рогозин Д. Как работает автоэтнография? // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. C. 224–273. EDN: TRRRBD

Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012.

Banks M. Using Visual Data in Qualitative Research. Los Angeles: Sage, 2007. DOI: https://doi.org/10.4135/9780857020260

Carter S., Little M. Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative Research // Qualitative Health Research. 2007. Vol. 17. № 10. P. 1316–1328. DOI: https://doi.org/10.1177/1049732307306927

De Jager A., Tewson A., Ludlow B., Boydell K. Embodied Ways of Storying the Self: A Systematic Review of Body-Mapping // Forum Qualitative Sozialforschung/forum: Qualitative social research. 2016. Vol. 17. № 2. P. 1–31. DOI: https://doi.org/10.17169/fqs-17.2.2526

Dennis F. Mapping the Drugged Body: Telling Different Kinds of Drug-Using Stories // Body and Society. 2020. Vol. 26. № 3. P. 61–93. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1357034X20925530

Dew A., Smith L., Collings S., Dillon Savage I. Complexity Embodied: Using Body Mapping to Understand Complex Support Needs // Forum: Qualitative Social Research. 2018. Vol. 19. № 2. P. 1–24. DOI: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-19.2.2929

Drew S., Guillemin M. From Photographs to Findings: Visual Meaning-making and Interpretive Engagement in the Analysis of Participant-Generated Images // Visual Studies. 2010. Vol. 29. № 1. P. 54–67. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1472586X.2014.862994

Gastaldo D., Magalhaes L., Carrasco C., Davy C. Body Mapping as Research: Methodological Considerations for Telling the Stories of Undocumented Workers through Body Mapping. 2012. URL: http://www.migrationhealth.ca/undocumented-workers-ontario/body-mapping (дата обращения: 29.10.2022).

Gastaldo D., Rivas-Quarneti N., Magalhães L. Body-map Storytelling as a Health Research Methodology: Blurred Lines Creating Clear Pictures // Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 2018. Vol. 19. № 2. P. 1–26. DOI: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-19.2.2858

Gauntlett D., Holzwarth P. Creative and Visual Methods for Exploring Identities // Visual Studies. 2006. Vol. 21. № 1. P. 82–91. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14725860600613261

Linell P. Rethinking Language, Mind, and World Dialogically. Charlotte: Information Age Publishing, 2009.



Lobe B., Morgan D. L., Hoffman K. A Systematic Comparison of In-person and Video-based Online Interviewing // International Journal of Qualitative Methods. 2022. Vol. 21. P. 1–12. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/16094069221127068

Maina G., Sutankayo L., Chorney R., Caine V. Living with and Teaching about HIV: Engaging Nursing Students through Body Mapping // Nurse Education Today. 2014. Vol. 34. № 4. P. 643–647. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.05.004

McCorquodale L., DeLuca S. You Want me to Draw What? Body Mapping in Qualitative Research as Canadian Socio-political Commentary // Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 2020. Vol. 21. № 2. P. 1–28. DOI: https://doi.org/10.17169/fqs-21.2.3242

Skop M. The Art of Body Mapping: A Methodological Guide for Social Work Researchers // Aotearoa New Zealand Social Work. 2016. Vol. 28. № 4. P. 29–43. DOI: http://dx.doi.org/10.11157/anzswi-vol28iss4id295

Spencer S. Visual Research Methods in the Social Sciences: Awakening visions. New York: Routledge, 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9780203883860

Сведения об авторе:

Старцев Сергей Вячеславович — стажер-исследователь, Международная лаборатория исследований социальной интеграции, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия. **E-mail:** sstartsev@hse.ru. **ORCID:** 0000-0001-8152-1817.

Статья поступила в редакцию: 31.10.2022 **Принята к публикации**: 10.12.2022

INTER-Encyclopedia: Body Mapping

DOI: 10.19181/inter.2022.14.4.6

Sergey V. Startsev HSE University, Moscow, Russia

E-mail: sstartsev@hse.ru

The article discusses the methodological features and heuristic boundaries of the method of implementing a qualitative research strategy in sociology — body mapping. In addition to describing the advantages of this method in health and disease research, as well as other areas related to the social cognition of physicality, a brief overview of the methodological steps that must be followed when using body mapping is provided. The stages of the introduction of this method into sociological disciplines from art therapy practices are described, in which body mapping has demonstrated itself as a non-standard way of obtaining extralinguistic information.

Keywords: body-map storytelling; art methods in qualitative research; body mapping

References

Bagina Y.A., Govorova A.D., Naryan S.K. (2021) "Odin v pole ne voin" ili "tretiy lishniy"? Tandemnye interv'u v kachestvennyh issledovaniyah ["One in the Field is not a Warrior" or "the Third Extra"?

INTER, 4'2022

Tandem Interviews in Qualitative Research]. *Monitoring obshestvennogo mneniya: economicheskiye i social'niye peremeni* [Monitoring Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 4. P. 53–76. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.4.1986 EDN: BPKUWU

Banks M. (2007) *Using Visual Data in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9780857020260

Becky S. (2021) Kak provesti interv'u vo vremy i posle pandemii COVID-19 [Conducting Interviews During the COVID-19 Pandemic and Beyond]. *Interaktciya. Interv'u. Interpretatciya* [Interaction. Interview. Interpretation]. Vol. 13. No. 4. P. 9–27. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.19181/inter.2021.13.4.1

Carter S., Little M. (2007) Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative Research. *Qualitative health research*. Vol. 17. No. 10. P. 1316–1328. DOI: https://doi.org/10.1177/1049732307306927

De Jager A., Tewson A., Ludlow B., Boydell K. (2016) Embodied Ways of Storying the Self: A Systematic Review of Body-mapping. *Forum qualitative social research*. Vol. 17. No. 2. P. 1–31. DOI: https://doi.org/10.17169/fgs-17.2.2526

Dennis F. (2020) Mapping the Drugged Body: Telling Different Kinds of Drug-Using Stories. *Body and Society*. Vol. 26. No. 3. P. 61–93. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1357034X20925530

Dew A., Smith L., Collings S., Dillon Savage I. (2018) Complexity Embodied: Using Body Mapping to Understand Complex Support Needs. *Forum: Qualitative Social Research*. Vol. 19. No. 2. P. 1–24. DOI: http://dx.doi.org/10.17169/fgs-19.2.2929

Drew S., Guillemin M. (2010) From Photographs to Findings: Visual Meaning-making and Interpretive Engagement in the Analysis of Participant-Generated Images. *Visual Studies*. Vol. 29. No. 1. P. 54–67. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1472586X.2014.862994

Gastaldo D., Magalhaes L., Carrasco C., Davy C. (2012) *Body Mapping as Research: Methodological Considerations for Telling the Stories of Undocumented Workers through Body Mapping*. URL: http://www.migrationhealth.ca/undocumented-workers-ontario/body-mapping (дата обращения: 29.10.2022).

Gastaldo D., Rivas-Quarneti N., Magalhães L. (2012) Body-map Storytelling as a Health Research Methodology: Blurred Lines Creating Clear Pictures. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Sozial Research*. Vol. 19. No. 2. P. 1–26. DOI: http://dx.doi.org/10.17169/fqs-19.2.2858

Gauntlett D., Holzwarth P. (2006) Creative and Visual Methods for Exploring Identities. *Visual Studies*. Vol. 21. No. 1. P. 82–91. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14725860600613261

Linell P. (2009) *Rethinking Language, Mind, and World Dialogically*. Charlotte: Information Age Publishing.

Lobe B., Morgan D.L., Hoffman K.A. (2022) Systematic Comparison of In-person and Videobased Online Interviewing. *International Journal of Qualitative Methods*. Vol. 21. P. 1–12. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/16094069221127068

Maina G., Sutankayo L., Chorney R., Caine V. (2014) Living with and Teaching about HIV: Engaging Nursing Students through Body Mapping. *Nurse Education Today*. Vol. 34. No. 4. P. 643–647. DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.05.004

McCorquodale L., DeLuca S. (2020) You Want me to Draw What? Body Mapping in Qualitative Research as Canadian Socio-political Commentary. *Forum Qualitative Social forschung / Forum: Qualitative Social Research*. Vol. 21. No. 2. P. 1–28. DOI: https://doi.org/10.17169/fgs-21.2.3242

Poluhina E.V. (2010) Etnograficheskiy podhod v otechestvennyh sociologicheskih issledovaniyah]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Ethnographic Method in Domestic Sociological Research]. Sociologicheskie issledovaniya [Sociological Research]. No 7. P. 143–147. (In Russ.) EDN: MSNRMH

Rogozin D.M. (2015) Kak rabotaet avtoetnografia? [How Does Autoethnography Work?]. Sociologicheskoe obozrenie [Russian Sociological Review]. Vol 14. No. 1. P. 224–273. (In Russ.) EDN: TRRRBD

Rozhdestvenskyia E. U. (2012) *Biograficheskiy metod v sociologii* [Biographical Method in Sociology]. Moscow: HSE Publishing House. (In Russ.)



Skop M. (2016) The Art of Body Mapping: A Methodological Guide for Social Work Researchers. *Aotearoa New Zealand Social Work*. Vol. 28. No. 4. P. 29–43. DOI: http://dx.doi.org/10.11157/anzswj-vol28iss4id295

Spencer S. (2011) *Visual Research Methods in the Social Sciences: Awakening visions*. New York: Routledge, 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9780203883860

Van'ke A.V., Poluhina E.V., Strel'nikova A.V. (2020) *Kak sobrat' dannye v polevom kachestvennom issledovanii* [How to Collect Data in a Qualitative Field Study]. Moscow: HSE Publishing House. (In Russ.) DOI: http://dx.doi.org/10.17323/978-5-7598-1960-8

Author bio:

Sergey V. Startsev — Trainee Researcher, International Laboratory for Social Integration Research, HSE University, Moscow, Russia. **E-mail:** sstartsev@hse.ru. **ORCID:** 0000-0001-8152-1817.

Received: 31.10.2022 **Accepted:** 10.12.2022



Интеракция. Интервью. Интерпретация.

2022. Tom 14. № 4

СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ

Учредители – Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук

> (117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5); Российское общество социологов (117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5);

Издатель – Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5)

Рецензируемый научный журнал «Интеракция. Интервью. Интерпретация» учрежден на заседании Президиума Общественной организации «Российское общество социологов» и выпускается с 2002 г.

Все права на опубликованные материалы принадлежат редакции и авторам.

Точка зрения авторов публикуемых материалов не обязательно отражает точку зрения редакции.

Публикации журнала не могут быть воспроизведены в любой форме без разрешения редакции.

Требования к оформлению рукописей и порядок подачи статей изложены на официальном сайте журнала: www.inter-fnisc.ru

Главный редактор:

Виктория Владимировна Семенова

Редакция:

Елена Юрьевна Рождественская Анна Владимировна Стрельникова Ирина Наумовна Тартаковская

Ответственный секретарь:

Павел Евгеньевич Сушко

Технический редактор:

Ольга Николаевна Салангина

Компьютерная верстка:

Виталий Евгеньевич Кудымов

Корректор:

Анна Николаевна Кокарева

Адрес редакции: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5, каб. 513 E-mail: inter.fnisc@gmail.com

Editorial office: Krzhizhanovskogo str., 24/35, korp. 5, 117218, Moscow, Russian Federation Ph. +7 (499) 128-86-18: e-mail: inter.fnisc@gmail.com